

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

РОССИЯ. ДУША!
ХРАНИ СЕБЯ...



РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!
СМОТРИ, ОПЯТЬ В ЛЕСА ТВОИ И ДОЛЫ
СО ВСЕХ СТОРОН НАЗРЯНИИ ОНИ,
ИЖИХ ВРЕМЯ МАМАРЫ И МОЖОЛЫ.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ



"...НОЧАМИ ЧАСТО ПРЕДАЮСЬ ВОСПОМИНАНИЯМ. И ОЧЕНЬ В ТАКИЕ МИНУТЫ ХОЧЕТСЯ ВЫРВАТЬСЯ НАКОНЕЦ НА ПРОСТОР, ПОЕХАТЬ КУДА-НИБУДЬ, ПОСМОТРЕТЬ НА ДАВНО ЗНАКОМЫЕ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, ПОСЛОНЯТЬСЯ ПО ГОЛУБИЧНЫМ БОЛОТАМ ДА ПО ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ПОЛЯНАМ ИЛИ ПОСИДЕТЬ НОЧЬЮ В ЛЕСУ У КОСТРА И НАБЛЮДАТЬ, КАК ЧЕРНЫЕ ТЕНИ, ПАДАЮЩИЕ ОТ ДЕРЕВЬЕВ, ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ВОКРУГ КОСТРА, СЛОВНО КАКИЕ-ТО ТАИНСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА.

УЖАСНО ЛЮБЛЮ ТАКИЕ ВЕЩИ..."

(Из письма Н. Рубцова, май 1959 г.)

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

РОССИЯ, РУСЬ!
ХРАНИ СЕБЯ...



Стихи

Повесть о поэте

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1992

ББК 84Р7

Р82

Составитель *В. И. Сафонов*

Рубцов Н. М.

Р82 Россия, Русь! Храни себя: Стихи. — М.:
Воениздат, 1992. — 383.

ISBN 5—203—01415—9

Николай Рубцов — поэт есенинской проникновенности в тайны русской души, особо любимый и почитаемый в России последние 30 лет.

В книгу включена документальная повесть о днях службы Н. Рубцова на Северном флоте и начале его творческого пути. Автор — его друг и сослуживец писатель Валентин Сафонов.

Р $\frac{4702010202-018}{068/02/-92}$ 133—92

ББК 84Р7

ISBN 5—203—01415—9

© Н. М. Рубцов, 1992

НИКОЛАЙ
РУБЦОВ

МИРКА



ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ

Взбегу на холм

и упаду

в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

И вдруг картины грозного раздора

Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звездных берегах

И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг

В крови и в жемчугах

Тупой башмак скуластого Батия...

Россия, Русь — куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы,

Люблю твои ивбушки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,
И шепот нв у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
 в окрестностях
 России.

Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отпнму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной —
 бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...



Я буду скакать по холмам задремавшей
отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных
племен!
Как прежде скакали на голос удачи
капризный,
Я буду скакать по следам миновавших
времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала
окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь
из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде
и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках
проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском
костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех
на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнушем
шуме
Весенние воды, и бревна неслись
по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли
и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная
люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный,
 белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших
 полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной
 царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных
 белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих
небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть
чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной
силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану
шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до
могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных
ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные
всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Я буду скакать, не нарушив ночное дыхание
И тайные сны неподвижных больших
деревень.
Никто меж полей не услышит глухое
скаканье,

Никто не окликнет мелькнувшую легкую
тень.

И только, страдая, израненный бывший
десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный
всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

ПОДОРОЖНИКИ

Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса.
Пролегла дороженька до Устюга
Через город Тотьму и леса.

Приуныли нынче подорожники,
Потому что, плача и смеясь,
Все прошли бродяги и осторожники —
Грузовик разбрызгивает грязь.

Приуныли в поле колокольчики,
Для людей мечтают позвенеть,
Но цветов певучие бутончики
Разве что послушает медведь.

Разве что от кустика до кустика
По следам давно усопших душ
Я пойду, чтоб думами до Устюга
Погружаться в сказочную глушь.

Где мое приветили рождение
И трава молочная и мед,
Мне приятно даже мух гудение,
Муха — это тоже самолет.

Всю пройду дороженьку до Устюга
Через город Тотьму и леса,
Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса!

НА ПОЧЛЕГЕ

Лошадь белая в поле темном.
Воеет ветер, бурлит овраг,
Светит лампа в избе укромной,
Освещаая осенний мрак.

Подмерзая, мерцают лужи...
«Что ж, — подумал, — зайду давай?»
Посмотрел, покурил, послушал
И ответил мне: — Ночевай!

И отправился в темный угол,
Долго с лавки смотрел в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!

Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом к нему веселым —
Он без звука к себе на печь.

Знаю, завтра разбудит только
Словом будничным, кратким столь.
Я спрошу его: — Надо сколько?
Он ответит: — Не знаю, сколь!

И отправится в тот же угол,
Долго будет смотреть в окно
На поблекшие травы луга...
Хоть бы слово еще одно!..

Ночеваю! Глухим покоем
Сумрак душу врачует мне,
Только маятник с тихим боем
Все качается на стене.

Только изредка над паромной
Над рекою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет...

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Хотя проклиная проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим по следу
В дорогу торопится слишком:
— Я тоже отсюда уеду!

Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
— Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!

Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...

ДОБРЫЙ ФИЛЯ

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить?



В полях сверкало. Близилась гроза.
Скорей, скорей! Успеет ли до дому?
Тотчас очнулись сонные глаза,
Блуждает взгляд по небу грозовому.

Возница злой. Он долго был в пути.
Усталый конь потряхивает гривой,
А как сверкнет — шарахнется пугливо
И не поймет, куда ему идти.

Скорей, скорей! Когда продрогнешь весь,
Как славен дом и самовар певучий!
Вон то село, над коим выются тучи,
Оно село родимое и есть...

ЖУРАВЛИ

Меж болотных стволов красовался восток
огнеликий...
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг
журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные
крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым
вдали...
Широко по Руси предназначенный срок
увяданья
Возвещают они, как сказание древних
страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает
рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных
птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные
руки.
И забытость болот, и утраты знобящих
полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные
звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят, вот летят... Отворите скорее
ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких
своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и
природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж
не выразит их...

ВЕЧЕРНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Мне лошадь встретила в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных —
не встречаться!



Сапоги мои — скрип да скрип
Под березою,
Сапоги мои — скрип да скрип
Под осиною,
И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиною — гриб,
Подосиновик!
Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно.
И чаруют они, кружа,
Детским пением,
Чтоб такой красотой в тиши
Все дышало бы,
Будто видит твоя душа

сновидение.

И закружат твои глаза
Тучи плавные
Да брусничных глухих трясин
Лапы-лапушки...

Таковы на Руси леса
Достославные,
Таковы на лесной Руси
Сказки бабушки.
Эх, не ведьмы меня свели
С ума-разума

песней сладкою —

Закружило меня от села вдали
Плодоносное время
Краткое...
Сапоги мои — скрип да скрип

Под березою.
Сапоги мои — скрип да скрип
Под осиною.
И под каждой березой — гриб,
Подберезовик,
И под каждой осиной — гриб,
Подосиновик...

В ГОРНИЦЕ

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

ДУША ХРАНИТ

Вода недвижимее стекла.
И в глубине ее светло.
И только щука, как стрела,
Пронзает водное стекло.

О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм
И, отраженный глубиной,
Как сон столетий, божий храм.

О, Русь — великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты,

Как будто древний этот вид
Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен...

ПО ВЕЧЕРАМ

С моста идет дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!

Какая жизнь отливовала,
Отгоревала, отошла!
И все ж я слышу с перевала,
Как веет здесь, чем Русь жила.

Все так же весело и властно
Здесь парни ладят стремяна,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена...

СТАРАЯ ДОРОГА

Всё облака над ней, всё облака...
В пыли веков мгновены и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам — качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые

вечности глаза!

То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Еще порой проскачут верховые,
И снова — глушь, забывчивость, заря,
Все пыль, все пыль да знаки верстовые...
Здесь каждый славен —

мертвый и живой!

И оттого, в любви своей не каюсь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвою,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...

ПРИРОДА

Звенит, смеется, как младенец.
И смотрит солнышку вослед.
И меж домов, берез, поленниц
Горит, струясь, небесный свет.
Как над заплаканным младенцем,
Играя с нею, после гроз
Узорным чистым полотенцем
Свисает радуга с берез.
И сладко-сладко ночью звездной
Ей снится дальний скрип телег...
И вдруг разгневается грозно,
Совсем как взрослый человек!
Как человек богоподобный,
Внушает в гибельной борьбе
Пускай не ужас допотопный,
Но поклонение себе!..

УТРО

Когда заря, светясь по сосняку,
Горит, горит, и лес уже не дремлет,
И тени сосен падают в реку,
И свет бежит на улицы деревни,
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети, —
Воспрянув духом, выбегу на холм
И все увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую...



Доволен я буквально всем!
На животе лежу и ем
Бруснику, спелую бруснику!
Пугаю ящериц на пне,
Потом валяюсь на спине,
Внимая жалобному крику
Болотной птицы...

Надо мной
Между березой и сосной
В своей печали бесконечной
Плывут, как мысли, облака,
Внизу волнуется река,
Как чувство радости беспечной...
Я так люблю осенний лес,
Над ним — сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...

В ГЛУШИ

Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнущих небес,
Когда душе моей
Внушая поклоненье,
Идут стада дремать
Под ивовый навес,
Когда душе моей
Земная веет святость,
И полная река
Несет небесный свет, —
Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...

ПРОМЧАЛАСЬ ТВОЯ ПОРА!

Пасха

 под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора!
Садились ласточки на карниз,
Взвивались ласточки в высоту...
Но твой отвергнутый фанатизм
Увлек с собою

 и красоту.

О чем рыдают, о чем поют
Твои последние колокола?
Тому, что было, не воздают
И не горюют, что ты была.

Пасха

 под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора!..

ПЕСНЯ

Отцветет да поспеет
На болоте морошка —
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные выются вокруг...

Заскрипели ворота,
Потемнели избушки,
Закачалась над омутом ель,
Слышен жалобный голос
Одинокой кукушки,
И не спит по ночам коростель.

Над притихшей деревней
Скоро, скоро подружки
В облаках полетят с ветерком,
Выходя на дорогу,
Будут плакать старушки
И махать самолету платком.

Ах, я тоже желаю
На просторы вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.

Жаль мне доброе поле,
Жаль простую избушку,
Жаль над омутом старую ель...
Что ж так жалобно плачет
На болоте кукушка?
Что ж не спит по ночам коростель?

В МИНУТЫ МУЗЫКИ

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно попять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.

И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

НОЧЬ НА РОДИНЕ

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сел не слыхивали грома!
Не встрепетнется ветер у пруда,
И на дворе не зашуршит солома,

И редок сонный коростеля крик...
Вернулся я — былое не вернется!
Ну что же? Пусть хоть это остается,
Продлится пусть хотя бы этот миг,

Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ

Листья осенние
Где-то во мгле мирозданья
Видели, бедные,
Сон золотой увяданья,
Видели, сонные,
Как, натянувши поводья,
Всадник мрачнел,
Объезжая родные уголья,
Как, вострепелувшись,
Веселью он вновь предавался, —
Выстрел беспечный
В дремотных лесах раздавался!..
Ночью, как встарь,
Не слышать говорливой гармошки, —
Словно как в космосе,
Глухо в раскрытом окошке,
Глухо настолько,
Что слышно бывает, как глухо...
Это и нужно
В моем состоянии духа!
К печке остывшей
Подброшу поленьев беремя,
Сладко в избе
Коротать одиночества время,
В пору полночную
В местности этой невзрачной
Сладко мне спится
На сене под крышей чердачной,
Сладко, вдыхая
Ромашковый запах ночлега,
Зябнуть порою
В предчувствии близкого снега...
Вдруг, пробудясь,

По лесам зароптали березы,
Словно сквозь дрему
Расслышали чьи-то угрозы,
Словно почуяли
Гибель живые создания...
Вот он и кончился,
Сон золотой увяданья.



Седьмые сутки дождь не умолкает.
И некому его остановить.
Все чаще мысль угрюмая мелькает,
Что всю деревню может затопить.
Плывут стога. Крутятся, несутся доски.
И погрузились медленно на дно
На берегу забытые повозки,
И потонуло черное гумно.
И реками становятся дороги,
Озера превращаются в моря,
И ломится вода через пороги,
Семейные срывая якоря...

Неделю льет. Вторую льет... Картина
Такая — мы не видели грустней!
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней.
На кладбище затоплены могилы,
Видны еще оградные столбы,
Ворочаются, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных гробы,
Ломаются, всплывая, и в потемки
Под резким неслабеющим дождем
Уносятся ужасные обломки
И долго вспоминаются потом...

Холмы и рощи стали островами.
И счастье, что деревни на холмах.
И мужики, качая головами,
Перекликались редкими словами,
Когда на лодках двигались впотьмах,
И на детей покрикивали строго,

Спасали скот, спасали каждый дом
И глухо говорили: — Слава богу!
Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...
И все пойдет обычным чередом.

НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ

Когда заря
Смеркается и брезжит,
Как будто тонет
В омутной ночи,
И в гробовом
Затишье побережий
Скользят ее
Последние лучи,

Мне жаль ее...
Вот-вот... еще немножко...
И, поднимаясь
В гаснущей дали,
Весь ужас ночи
Прямо за окошком
Как будто встанет
Вдруг из-под земли!

И так тревожно
В час перед набегом
Кромешной тьмы
Без жизни и следа,
Как будто солнце
Красное пад снегом,
Огромное,
Погасло навсегда...

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне.

В эту пору с дороги буранной
Заявился ко мне на ночлег
Непонятный какой-то и странный
Из чужой стороны человек.

И старуха метель не случайно,
Как дитя, голосит за углом,
Есть какая-то жуткая тайна
В этом жалобном плаче ночном.

Обветшалые гнутся стропила,
И по лестнице шаткой во мрак,
Чтоб нечистую выпугнуть силу,
С фонарем я иду на чердак.

По углам разбегаются тени...
— Кто тут?.. — Глухо. Ни звука
в ответ.

Подо мной, как живые, ступени
Так и ходят... Спасения нет!

Кто-то стонет всю ночь на кладбище,
Кто-то гибнет в буране — невмочь,
И мерещится мне, что в жилище
Кто-то пристально смотрит всю ночь...

КУДА ПОЛЕТИМ?

— Мы будем свободны, как птицы, —
Ты шепчешь. И смотришь с тоской,
Как тянутся птиц вереницы
Над морем, над бурей морской!
И стало мне жаль отчего-то,
Что сам я люблю и любим...
Ты — птица иного полета,
Куда ж мы с тобой полетим?

ПРОЩАЛЬНОЕ

Печальная Вологда
 дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержанный говор печален
На темном печальном крыльце.
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.

На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...

СКАЧЕТ ЛИ СВАДЬБА...

Скачет ли свадьба в глуши потрясенного
бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние
годы!

Вспыхнут ли звезды — я вспомню, что
прежде блистали
Эти же звезды. А выйду случайно к парому, —
Прежде — подумаю — эти же весла плескали...
Будто о жизни и думать пельзя по-другому!

Ты говоришь, говоришь, как на родине
лунной
Снег освещенный летел вороному под ноги,
Как без оглядки, взволнованный, сильный и
юный,
В поле открытое мчался ты вниз по дороге!

Верил ты в счастье, как верят в простую
удачу,
Слушал о счастье младенческий говор
природы, —
Что ж, говори! Но не думай, что, если
заплачу,
Значит, и сам я жалею такие же годы.

Грустные мысли наводит порывистый ветер.
Но не об этом. А вспомнилось мне, что
уныло
Прежде не думал: «Такое, мне помнится,
было!»
Прежде храбрился: «Такое ли будет на свете!»

Вспыхнут ли звезды — такое ли будет
на свете! —
Так говорил я. А выйду случайно
к парому, —
«Скоро, — я думал, — разбудят меня
на рассвете,
Как далеко уплыву я из скучного дому!..»

О, если б завтра подняться, воспрянувши
духом,
С детскою верой в бессчетные вечные годы,
О, если б верить, что годы покажутся
пухом, —
Как бы опять обманули меня пароходы!..

БЕРЕЗЫ

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.

Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...

Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

ЗИМОВЬЕ НА ХУТОРЕ

Короткий день.

А вечер долгий.

И непременно перед сном
Весь ужас ночи за окном
Встает. Кладбищенские елки
Скрипят. Окно покрыто льдом.

Порой без мысли и без воли
Смотрю в оттаявший глазок.
И вдруг отнусь — как дико в поле!
Как лес и грозен и высок!

Зачем же, как сторожевые,
На эти грозные леса
В упор глядят глаза живые,
Мои полночные глаза?

Зачем? Не знаю. Сердце стынет
В такую ночь. Но все равно
Мне хорошо в моей пустыне,
Не страшно мне, когда темно.

Я не один во всей вселенной.
Со мною книги, и гармонь,
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь...

ПО ДРОВА

Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
По дрова спешит лошадка
В Сиперово, в лес.

Дед Мороз идет навстречу.
— Здравствуй!
— Будь здоров!..
Я в стихах увековечу
Заготовку дров.

Пахнет елками и снегом,
Бодро дышит грудь,
И лошадка легким бегом
Продолжает путь.

Привезу я дочке Лене
Из лесных даров
Медвежонка на колене,
Кроме воза дров.

Мимо изгороди шаткой,
Мимо разных мест
Вот и въехала лошадка
В Сиперово, в лес.

Нагружу большие сани
Да махну кнутом
И как раз поснею к бане,
С веником притом!



Давай, земля,
Немножко отдохнем
От важных дел,
От шумных путешествий!
Трава звенит!
Волна лениво плещет,
Зенит пылает
Солнечным огнем!

Там, за морями,
Полными задора,
Земля моя,
Я был нетерпелив, —
И после дива
Нашего простора
Я повидал
Немало разных див!

Но все равно,
Как самый лучший жребий,
Я твой покой
Любил издавека,
И счастлив тем,
Что в чистом этом небе
Идут, идут,
Как мысли, облака...

И я клянусь
Любою клятвой мира,
Что буду славить
Эти небеса,
Когда моя
Медлительная лира
Легко свои поднимет паруса!

Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси...

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

1

Огонь в печи не спит,
перекликаясь
С глухим дождем, струящимся по крыше...
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь, —
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру вытянутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валятся с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устилая...

Когда стихает яростная буря,
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели,
Закутываясь в бабушкину шаль.
Скрипят, скрипят под ветками качели,
И так шумит над девочкой береза
И так вздыхает горестно и страстно,
Как будто человеческою речью
Она желает что-то рассказать.
Они друг другу так необходимы!

Но я нарушил их уединенье,
Когда однажды шлялся по деревне
И вдруг спросил играючи: «Шалунья!
О чем поешь?» Малютка отвернулась
И говорит: «Я не пою, я плачу...»
Вокруг меня все стало так уныло!
Но в наши годы плакать невозможно,
И каждый раз, себя преодолая,
Мы говорим: «Все будет хорошо».

И вот среди осеннего безлюдья
 Раздался бодрый голос человека:
 — Как много нынче клюквы на болоте!
 — Как много нынче клюквы на болоте! —
 Во всех домах тотчас отозвалось...

От всех чудес всемирного потопа
 Досталось нам безбрежное болото,
 На сотни верст усыпанное клюквой,
 Овеянное сказками и былью
 Прошедших здесь крестьянских
 поколений...

Зовешь-зовешь... Никто не ответится...
 И вдруг уснет могучее сознание,
 И вдруг уснут мучительные страсти,
 Исчезнет даже память о тебе.
 И в этом сне картины нашей жизни,
 Одна другой туманнее, толпятся,
 Покрытые миражной поволокой
 Безбрежной тишины и забвения.
 Лишь глухо стонет дерево сухое...

«Как хорошо! — я думал. —
 Как прекрасно!»
 И вздрогнул вдруг, как будто пробудился,
 Услышав странный посторонний звук.

Змея! Да-да! Болотная гадюка
 За мной все это время наблюдала
 И все ждала, шипя и извиваясь...
 Мираж пропал. Я весь похолодел.
 И прочь пошел, дрожа от омерзенья,
 Но в этот миг, как туча, над болотом
 Взлетели с криком яростные птицы,

Они так низко начали кружиться
Над головой моею одинокой,
Что стало мне опять не по себе...

«С чего бы это птицы взбеленились? —
Подумал я, все больше беспокоясь. —
С чего бы змеи начали шипеть?»

И понял я, что это не случайно,
Что весь на свете ужас и отрава
Тебя тотчас открыто окружают,
Когда увидят вдруг, что ты один.
Я понял это как предупреждение:
Мол, хватит, хватит шлаться по болоту!
Да-да, я понял их предупреждение —
Один за клюквой больше не пойду...

3

Прошел октябрь. Пустынно за овином.
Звенит снежок в траве обледенелой,
И глохнет жизнь под небом оловянным,
И лишь почтовый трактор хлопотливо .
Туда-сюда мотается чуть свет,
И только я с поникшей головою,
Как выражение осени живое,
Проникнутый тоской ее и дружбой,
По косогорам родины брожу
И одного сильнее всего желаю —
Чтоб в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзии, покоя,
Чтоб и тогда она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас...

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ

Рукой раздвинув
 темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те —
Как существа уже иного мира.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть, и умереть,
И обнимать ромашки, умирая...

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня пронесит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный
 свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...



Село стоит
На правом берегу,
А кладбище —
На левом берегу.
И самый грустный все же
И нелепый
Вот этот путь,
Венчающий борьбу
И все на свете, —
С правого
На левый,
Среди цветов
В обыденном гробу...

ПЛЫТЬ, ПЛЫТЬ...

В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит,
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм...

Скучные мысли — прочь!
Думать и думать — лень!
Звезды на небе — ночь!
Солнце на небе — день!

Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...

Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!

Плыть, плыть, плыть...

ЭКСПРОМТ

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своем народе!

ТОСТ

За Вологду, землю родную,
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снова отправлюсь во тьму,
И вновь будет дождичек литься...
Пусть все это длится и длится!

ВОЛОГОДСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины.

Там, за рекою, свалка бревен,
Подъемный кран, гора песка,
И торопливо — час не ровен! —
Полощут женщины с мостка
Свое белье — полны до края
Корзины этого добра,
А мимо, волны нагоняя,
Летят и воют катера.

Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов
И темный, будто из предапья,
Квартал дряхлеющих дворов,
Архитектурный чей-то опус
Среди квартала... Дым густой...
И третий, кажется, автобус
Бежит по линии шестой.

Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля...

О МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, — о, русская земля! —
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смирение и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...

Да! Он земной! От пушек и пожа
Здесь кровь лилась... Он грозной
был твердыней!

Пред ним склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.
Но как — взгляните — чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный —
Ну, не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит?

И я молюсь — о, русская земля! —
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

ПРИВЕТ, РОССИЯ...

Привет, Россия — родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия — родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивою
под оконцем...

Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!

Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..

ПОЭЗИЯ

Теперь она, как в дымке, островками
Глядит на нас, покорная судьбе, —
Мелькнет порой лугами, ветряками —
И вновь закрыта дымными веками...
Но тем сильнее влечет она к себе!

Мелькнет покоя сельского страница,
И вместе с чувством древности земли
Такая радость на душе струится,
Как будто вновь поет на поле жница,
И дни рекой зеркальной потекли...

Снега, снега... За линией железной
Укромный, чистый вижу уголок.
Пусть век простит мне ропот бесполезный,
Но я молю, чтоб этот вид безвестный
Хотя б вокзальный дым не заволок!

Пусть шепчет бор, серебряно-янтарный,
Что это здесь при звоне бубенцов
Расцвел душою Пушкин легендарный,
И снова мир дивился благодарный:
Пришел отсюда сказочный Кольцов!

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Памяти А. Яшина

...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, —
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь, —
Он, написавший столько мудрых книжек, —
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, —
Скажите, кто вернулся бы назад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, больной, скрывая свой недуг, —
Он, написавший столько мудрых книжек, —
На целый день расстраивался вдруг
Из-за каких-то мелких окунишек.

И мы, сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?
Что вдруг мы стали тише и взрослей,
Что грустно так поют суровым хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над беспробудно дремлющим угором...

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

РУССКИЙ ОГОНЕК

Погружены

 в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
 как сторожевой...

Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
— Вот печь для вас и теплая одежда... —
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:

Огнем, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
— Скажи, родимый,
Будет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.

— Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... —
И вдруг опять:
— Не будет, говоришь?
— Нет, — говорю, — наверное, не будет.
— Дай бог, дай бог...

И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим бречением монет
Прервал ее старинные виденья...
— Господь с тобой! Мы денег не берем!
— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою друга,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя...

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ

Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятение и тоску, —
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет, —
Я уплыву за Вологду-реку!

Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,
Так много лет — не больше чем знаком.

Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

В том ресторане мглисто и уютно,
Он на волнах качается чуть-чуть,
Пусть сосед поглядывает мутно
И задает вопросы поминутно, —
Что ж из того? Здесь можно отдохнуть!

Сижу себе, разглядываю спину
Кого-то уходящего в плаще,
Хочу запеть про тонкую рябину,
Или про чью-то горькую чужбину,
Или о чем-то русском вообще.

Вникаю в мудрость древних изречений
О сложном смысле жизни на земле.
Я не боюсь осенних помрачений!
Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле.

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други.

— Скучаешь?

— Нет! Присаживайтесь все...

Вдоль по мосткам несется листьев ворох —
Видать в окно, — и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ

За годом год уносится навек,
Покоем веют старческие нравы, —
На смертном ложе гаснет человек
В лучах довольства полного и славы!
К тому и шел! Страстей своей души
Боялся он, как буйного похмелья.
— Мои дела ужасно хороши! —
Хвалился с видом гордого веселья.
Последний день уносится навек...
Он слезы льет, он требует участия,
Но поздно понял, важный человек,
Что создал в жизни

ложный облик счастья!

Значенье слез, которым поздно течь,
Не передать — близка его могила,
И тем острее мстительная речь,
Которую душа заговорила...

Когда над ним, угаснувшим навек,
Хвалы и скорби голос раздавался, —
«Он умирал, как жалкий человек!» —
Подумал я, и вдруг заволновался:
«Мы по одной дороге ходим все. —
Так думал я. — Одно у нас начало,
Один конец. Одной земной красе
В нас поклоненье свято прозвучало!
Зачем же кто-то, ловок и остер, —
Простите мне — как зверь в часы охоты,
Так устремлен в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестер?!»

Пускай всю жизнь душа меня ведет!
— Чтоб нас вести, на то рассудок нужен!
— Чтоб мы не стали холодны, как лед,
Живой душе пускай рассудок служит!

В душе огонь — и воля и любовь! —
И жалок тот, кто гонит эти страсти,
Чтоб гордо жить, нахмуривая бровь,
В лучах довольства полного и власти!
— Как в трех соснах блуждая и кружа,
Ты не сказал о разуме ни разу!
— Соединясь, рассудок и душа
Даруют нам — светильник жизни — разум!

Когда-нибудь ужасной будет ночь.
И мне навстречу злобно и обидно
Такой буран засвищет, что невмочь,
Что станет свету белого не видно!
Но я пойду! Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!
Чтоб снова силы чуждые, дрожа,
Все полегли и долго не очнулись,
Чтоб в смертный час рассудок и душа,
Как в этот раз, друг другу
улыбнулись...

В ГОСТЯХ

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гранитным громом грянуло с небес!
В трущобный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез...

Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!

Я продолжаю верить в этот бред,
Когда в свое притонное жилище
По коридору в страшной темнотище,
Отдав поклон, ведет меня поэт...

Куда меня, беднягу, занесло!
Таких картин вы сроду не видали,
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!

...Поэт, как волк, напьется натошак.
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете
И все молчит, не двигаясь никак.

А перед ним, кому-то подражая
И суется, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему вы курите, мадам!

Он говорит, что все уходит прочь,
И всякий путь оплакивает ветер,
Что странный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?»...
Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервной системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И все торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Опять стекло оконное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом...

Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде».

СТИХИ

Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воет, воет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!

Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?

А утром солнышко взойдет, —
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Вот так поэзия, она
Звенит — ее не остановишь!
А замолчит — напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.

Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее...



О чем шумят
Друзья мои, поэты,
В неугомонном доме допоздна?
Я слышу спор.
И вижу силуэты
На смутном фоне позднего окна.

Уже их мысли
Силой налились!
С чего ж начнут?
Какое слово скажут?
Они кричат,
Они руками машут,
Они как будто только родились!

Я сам за все,
Что крепче и полезней!
Но тем богат,
Что с «Левым маршем» в лад
Негромкие есенинские песни
Так громко в сердце
Бьются и звучат!

С веселым пеньем
В небе безмятежном,
Со всей своей любовью и тоской
Орлу не пара
Жаворонок нежный,
Но ведь взлетают оба высоко!

И, славя взлет
Космической ракеты,
Готовясь в ней летать за небеса,
Пусть не шумят,
А пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои, —
Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

ЛЕВИТАН

(По мотивам картины «Вечерний звон»)

В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн, —
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

ГУЛЯЕВСКАЯ ГОРКА

Остановись, дороженька моя!
Все по душе мне — сельская каморка,
Осенний бор, Гуляевская горка,
Где веселились русские князья.

Простых преданий добрые уста
Еще о том гласят, что каждодневно
Гуляла здесь прекрасная царевна, —
Она любила здешние места.

Да! Но и я вполне счастливый тип,
Когда о ней тоскую втихомолку
Или смотрю бессмысленно на елку
И вдруг в тени увижу белый гриб!

И ничего не надо мне, пока
Я просыпаюсь весело на зорьке
И все брожу по старой русской горке,
О прежних днях задумавшись слегка...

СОСЕН ШУМ

В который раз меня приветил
Уютный древний Липин Бор,
Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор.

Какое русское селенье!
Я долго слушал сосен шум,
И вот явилось просветленье
Моих простых вечерних дум.

Сижу в гостинице районной,
Курю, читаю, печь топлю.
Наверно, будет ночь бессонной,
Я так порой не спать люблю!

Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов.

Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум...

НАГРЯНУЛИ

Не было собак — и вдруг залаяли.
Поздно ночью — что за чудеса! —
Кто-то едет в поле за сараями,
Раздаются чьи-то голоса...

Не было гостей — и вот нагрянули.
Не было вестей — так получай!
И опять под ивами багряными
Расходился праздник невзначай.

Ты прости нас, полюшко усталое,
Ты прости, как братьев и сестер:
Может, мы за все свое бывалое
Разожгли последний наш костер.

Может быть, последний раз нагрянули,
Может быть, не скоро навестят...
Как по саду, садику багряному
Грустно-грустно листья шелестят.

Под луной, под гаснущими ивами
Посмотрели мой любимый край
И опять умчались, торопливые,
И пропал вдали собачий лай...

В СТАРОМ ПАРКЕ

Песчаный путь
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья.
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозой
Вымытых небес!

Желтея грустно,
Старый особняк
Стоит в глуши
Запущенного парка —
Как дико здесь!
Нужна покрепче палка,
Чтоб уложить
Крапиву кое-как...

Покрывшись пеплом,
Гаснет бирюза.
И там, во тьме
Унылого строенья,
Забытого навек
Без сожаленья,
Горят кошачьи
Желтые глаза.

Не отыскать
Заросшие следы,
Ничей приход
Не оживит картины,
Лишь манят, вспыхнув
Ягоды малины
Да редких вишен
Крупные плоды.

Здесь барин жил.
И может быть, сейчас,
Как старый лев,
Дряхлея на чужбине,
Об этой сладкой
Вспомнил он малине,
И долго слезы
Катятся из глаз...

Подует ветер!
Сосен темный ряд
Вдруг зашумит,
Застонет, занеможет,
И этот шум
Волнует и тревожит,
И не понять,
О чем они шумят.

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Внезапно небо прорвалось
С холодным пламенем и громом!
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.

Завеса мутная дождя
Заволокла лесные дали.
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетали!

И туча шла — гора горой!
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято.

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

И все раскалывалась высь,
Плач раздавался колыбельный,
И стрелы молний все неслись
В простор тревожный, беспредельный...

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Ночью я видел:
Ломались березы!
Видел: метались цветы!
Гром, рассылающий
Гибель и слезы,
Всех настигал с высоты!
Как это странно
И все-таки мудро:
Гром роковой перенести,
Чтоб удивительно
Светлое утро
Встретить, как светлую весть!
Вспыхнул светящийся
Солнечный веер,
Дышат нектаром цветы,
Благой рассеянной
Озеро веет,
Полное чистой воды!

ДЕТСТВО

Мать умерла.
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скучную природу.

Откуда только —
Как из-под земли! —
Взялись в жилье
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменилось,
За мной пришли,
Куда-то повезли.

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип, и плеск парома,
И крик «Скорей!»,
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу.

Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, —
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

До слез теперь
Любимые места!
И там, в глуши,
Под крышею детдома
Для нас звучало
Как-то незнакомо,
Нас оскорбляло
Слово «сирота».

Хотя старушки
Местных деревень
И впрямь на нас
Так жалобно глядели,
Как на сирот несчастных,
В самом деле,
Но время шло,
И приближался день,

Когда раздался
Праведный салют,
Когда прошла
Военная морока,
И нам подъем
Объявлен был до срока,
И все кричали:
— Гитлеру капут!

Еще прошло
Немного быстрых лет,
И стало грустно вновь:
Мы уезжали!
Тогда нас всей
Деревней провожали,
Туман покрыл
Разлуки нашей след...



В святой обители природы,
В тени разросшихся берез
Струятся омутные воды
И раздается скрип колес.

Прощальной дымкою повиты
Старушки избы над рекой.
Незабываемые виды!
Незабываемый покой!..

Усни, могучее сознание!
Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовется увяданье
Цветов, белеющих во мгле.

И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полночные светила
Наводят много-много дум...

ЧТО ВСПОМНЮ Я?

Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.

Что вспомню я? Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.

Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные-грустные птицы
Кричали в конце сентября.

И нехотя так на суслоны
Садились, клевали зерно, —
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно.

Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик.

Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист...

А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!

КУПАВЫ

Как далеко дороги пролегли!
Как широко раскинулись уголья!
Как высоко над зыбким половодьем
Без остановки мчатся журавли!

В лучах весны — зови иль не зови! —
Они кричат все радостней, все ближе...
Вот снова игры юности, любви
Я вижу здесь... но прежних не увижу.

И обступают бурную реку
Все те ж цветы... но девушки другие,
И говорить не надо им, какие
Мы знали дни на этом берегу.

Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы! —
Но разве кто послушает меня...

ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —
Все улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно.
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

БУКЕТ

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
— С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы! —
Она возьмет.
Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдет,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...

ЗАЧЕМ?

Она совсем еще ребенок —
И ясен взгляд, и голос тонок.
Она совсем еще дитя —
Живет играя и шутя.

— Давай походим темным лесом!
— Давай разбудим соловья!
Там у дороги под навесом
Моя любимая скамья.

— Давай сбежим скорее в поле!
— Давай посмотрим на зарю!.. —
Я подчиняюсь поневоле
И тоже что-то говорю.

Но чувства борются во мне,
Я в жизни знаю слишком много,
И часто с ней наедине
Мне нелегко и одиноко.

И вот она уже грустна,
И вот уже серьезней встречи,
Совсем запутает она
Глубок моих противоречий!

Зачем же мы ходили лесом?
Зачем будили соловья?
Зачем стояла под навесом
Та одинокая скамья?

СВИДАНИЕ

Мы входим в зал.
Сияющие люстры
От напряжения,
Кажется, дрожат!
Звенит хрусталь
И действует на чувства,
Мы входим в зал
Без всякого искусства,
А здесь искусством,
Видно, дорожат.

Швейцар блистает
Золотом и лоском,
Официант —
Испытанным умом,
А наш сосед —
Шикарной папирской...
Чего ж еще?
Мы славно отдохнем!

У вас в глазах
Восторг и упоенье,
И в них такая
Гордость за меня,
Как будто я
Здесь главное явление,
Как будто это
Все моя родня!

Чего ж еще?..
С чего бы это снова,
Встречая тихо
Ласку ваших рук,
За светлой рюмкой
Пунша золотого
Я глубоко
Задумываюсь вдруг?..

РАСПЛАТА

Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом.

И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду...

Поздно ночью откроется дверь.
Невеселая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.

Побледнеет и скажет: — Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..

И опять по дороге лесной
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели...

В ДОРОГЕ

Зябко в поле непросохшем,
Не с того ли детский плач
Все настойчивей и горше...
Запоздалый и продрогший
Пролетел над нами грач.
Ты да я, да эта крошка —
Мы одни на весь простор!
А в деревне у окошка
Ждет некормленная кошка
И про наш не знает спор.
Твой каприз отвергнув тонко,
Вижу: гнев тебя берет!
Наконец, как бы котенка,
Своего схватив ребенка,
Ты уносишься вперед.
Ты уносишься... Куда же?
Рай там, что ли? Погляди!
В мокрых вихрях столько блажи,
Столько холода в пейзаже
С темным домом впереди.
Вместе мы накормим кошку!
Вместе мы затопим печь!..
Молча глядя на дорожку,
Ты решаешь понемножку,
Что игра... не стоит свеч!

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся, тихие, светятся, чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные-трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное-трудное — все забывается,
Светлые звезды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

ПАМЯТНЫЙ СЛУЧАЙ

В детстве я любил ходить пешком.
У меня не уставали ноги.
Помню, как однажды с вещмешком
Весело шагал я по дороге.

По дорогам даже в поздний час
Я всегда ходил без опасенья,
С бодрым настроением в этот раз
Я спешил в далекое селенье...

Но внезапно ветер налетел!
Сразу тьма сгустилась! Страшно стало!
Хмурый лес качался и шумел,
И дорогу снегом заметало!

Вижу: что-то черное вдали
Сквозь метель маячит... Нет, не елки!
Ноги будто к месту приросли!
В голове мелькнуло: «Волки, волки!..»

Волки мне мерещились не раз
В обгоревших пнях. Один, без друга,
Я дрожал от страха, но тотчас
Шел вперед, опомнясь от испуга.

Шел я, спотыкаясь, а метель,
Мне сугроб под ноги наметая,
То вдруг «У-у-у!» кричала в темноте,
То вдруг «А-а-а!» кричала, как живая!

...После все утихло. Рассвело.
Свет зари скользил по белым склонам.
Я пришел, измученный, в село,
И друзья спросили удивленно:

— Что случилось! Ты не заболел?

— Ничего, — ответил я устало, —

Просто лес качался и шумел,

И дорогу снегом заметало...

ВЫПАЛ СНЕГ...

Выпал снег —

и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилося,
Словно выпил я вина.

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.

Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

ВОРОНА

Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы.
Наступила пора непогоды.

Суется она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зернышка нет у вороны
И от холода нет обороны...

ЛАСТОЧКА

Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.

Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.

Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим...
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

ВОРОБЕЙ

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...

ПРО ЗАЙЦА

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.

КОЗА

Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
— Как не стыдно тебе, егоза? —
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.

МЕДВЕДЬ

В медведя выстрелил лесник.
Могучий зверь к сосне приник.
Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь...

ГОЛОЛЕДИЦА

В черной бездне
Большая Медведица
Так сверкает! Отрадно взглянуть.
В звездном свете блестя, гололедица
На земле обозначила путь...
Сколько мысли,
И чувства, и грации
Нам являет заснеженный сад!
В том саду ледяные акации
Под окном освещенным горят.
Вихревыми, холодными струями
Ветер движется, ходит вокруг,
А в саду говорят поцелуями
И пожатием пламенных рук.
Заставать будет зоренька макова
Эти встречи — и слезы, и смех...
Красота не у всех одинакова,
Одинакова юность у всех!
Только мне, кто любил,
Тот не встретится,
Я не знаю, куда повернуть,
В тусклом свете блестя, гололедица
Предо мной обозначила путь...

ВСТРЕЧА

— Как сильно изменился ты! —
Воскликнул я. И друг опешил.
И стал печальней сироты...
Но я, смеясь, его утешил:
— Меняя прежние черты,
Меняя возраст, гнев и милость,
Не только я, не только ты,
А вся Россия изменилась!..

ДО КОНЦА

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!

Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.

Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

НА РОДИНУ!

Во мгле, по холмам суровым, —
Без фар не видать ни зги, —
Сто километров с ревом
Летели грузовики,
Летели почти по небу,
Касаясь порой земли.
Шоферы, как в лучший жребий,
Вцепились в свои рули,
Припали к рулям, как зубры,
И гнали — в леса, в леса! —
Жестоко оскалив зубы
И вытаращив глаза...
Я молча сидел в сторонке,
Следя за работой мужчин
И радуясь бешеной гонке
Ночных продуктовых машин.
Я словно летел из неволи
На отдых, на мед с молоком...
И где-то в зверином поле
Сошел и пошел
пешком.

ХЛЕБ

Положил в котомку
сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль!
Все же бабка
сунула краюху!
Все на свете зная наперед,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несет...

ПОЕЗД

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роєм
Понеслись огни в просторе мгlistом.
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых,
Перед самым, может быть, крушеньем
Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мирозданья,
Перед самым, может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья...
Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мгlistом
Уж не смею мыслить о покое, —
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем,
Мчусь куда-то с полным напряженьем
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!..»
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

ВЕСНА НА БЕРЕГУ БИИ

Сколько сору прибило к березам
Разыгравшейся полкой водой!
Трактора, волокуши с навозом,
Жеребята с проезжим обозом,
Гуси, лошади, шар золотой,
Яркий шар восходящего солнца,
Куры, свиньи, коровы, грачи,
Горький пьяница с новым червонцем
У прилавка

и куст под оконцем —
Все купается, тонет, смеется,
Пробираясь в воде и в грязи!

Вдоль по берегу бешеной Бии
Гонят стадо быков верховые —
И, нагнувши могучие выи,
Грозный рев поднимают быки.
Говорю вам: — Услышат глухие! —
А какие в окрестностях Бии —
Поглядеть — небеса голубые!
Говорю вам: — Прозреют слепые,
И дороги их будут легки...

Говорю я и девушке милой:
— Не гляди на меня так уныло!
Мрак, метелица — все это было
И прошло, — улыбнись же скорей!

Улыбнись! — повторяю я милой. —
Чтобы нас половодьем не смыло,
Чтоб не зря с неизбывною силой
Солнце било фонтаном лучей!

В СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

То желтый куст,
То лодка кверху днищем,
То колесо тележное
В грязи...
Меж лопухов —
Его, паверно, ищут —
Сидит малыш,
Щенок скулит вблизи.

Скулит щенок
И все ползет к ребенку,
А тот забыл,
Наверное, о нем, —
К ромашке тянет
Слабую ручонку
И говорит...
Бог ведает, о чем!..

Какой покой!
Здесь разве только осень
Над ледоносной
Мечется рекой,
Но крепче сон,
Когда в ночи глухой
Со всех сторон
Шумят вершины сосен,

Когда привычно
Слышатся в лесу
Осин тоскливых
Стоны и молитвы, —
В такую глушь
Вернувшись после битвы,
Какой солдат
Не уронил слезу?

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст,
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...

ШУМИТ КАТУНЬ

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Катунь, Катунь — свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, —
Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Все поглотил столетний темный зев!
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом —
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные айлы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...

В ПУСТЫНЕ

Сотни лет,
Пролетевших без вести,
Сотни лет,
Сверхъестественно злой,
Как задуманный
Кем-то для мести,
Сотни лет
Над пустынями зной!

Шли с проклятьями
Все караваны...
Кто ж любил вас?
И кто вас ласкал?
Кто жалел
Погребенные страны
Меж песков
И обрушенных скал?

Хриплым криком
Тревожа гробницы,
Поднимаются,
Словно кресты,
Фантастически мрачные
Птицы,
Одинокие птицы пустынь...

Но и в мертвых
Песках без движенья,
Как под гнетом
Неведомых дум,
Зреет жгучая
Жажда сраженья,
В каждом шорохе
Зреет самум!..



Сибирь, как будто не Сибирь!
Давно знакомый мир лучистый —
Воздушный, солнечный, цветистый,
Как мыльный радужный пузырь.

А вдруг он лопнет, этот мир?
Вот-вот рукою кто-то хлопнет —
И он пропал... Но бригадир
Сказал уверенно: «Не лопнет!»

Как набежавшей тучки тень,
Тотчас прошла моя тревога, —
На бригадира, как на бога,
Смотрел я после целый день...

Тележный скрип, грузовики,
Река, цветы и запах скотский,
Еще бы церковь у реки —
И было б все по-вологодски.

ЦВЕТЫ

По утрам умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: — А как назывались? —
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались — «анютины глазки».

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти! На знобющем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится словно в бреду.

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

Пароход зашумел,
Напрягаясь, захлопал колесами...
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там, за березами?

У РАЗМЫТОЙ ДОРОГИ...

Грустные мысли наводит порывистый ветер,
Грустно стоять одному у размытой дороги,
Кто-то в телеге по ельнику едет и едет —
Позднее время — спешат запоздалые дроги.
Плачет звезда, холодея, над крышей сарая...
Вспомни — о родина! — праздник на этой
дороге!

Шумной гурьбой под луной мы катались, играя,
Снег освещенный летел вороному под ноги.
Бег все быстрее... Вот вырвались в белое поле.
В чистых снегах ледяные полынные воды.
Мчимся стрелой... Приближаемся к праздничной
школе...

Славное время! Души моей лучшие годы.
Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора,
Мчатся ли птицы, поднявшие крик
над селеньем,

Льется ли чудное пение детского хора, —
О, моя жизнь! На душе не проходит волнение...
Нет, не кляню я мелькнувшую мимо удачу,
Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы.
Что ж я стою у размытой дороги и плачу?
Плачу о том, что прошли мои лучшие годы...

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ

Въезжаем в рощу золотую,
В грибную бабушкину глушь.
Лошадка встряхивает сбрую
И пьет порой из теплых луж.

Вот показались вдоль дороги
Поля, деревни, монастырь,
А там — с кустарником убогим
Унылый тянется пустырь.

Я рад тому, что мы кочуем,
Я рад садам монастыря
И мимолетным поцелуям
Прохладных листьев сентября.

А где-то в солнечном Тифлисе
Ты ждешь меня на той горе,
Где в теплый день, при легком бризе,
Прощались мы лицом к заре.

Я опечален: та вершина
Крута. А ты на ней одна.
И азиатская чужбина —
Бог знает что за сторона.

Еще он долгон по селеньям,
Мой путь к морскому кораблю,
И, как тебе, цветам осенним
Я все шепчу: «Люблю, люблю...»

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ

Улетели листья

с тополей —

Повторилась в мире неизбежность...

Не жалея ты листья, не жалея,

А жалея любовь мою и нежность!

Пусть деревья голые стоят,

Не кляни ты шумные метели!

Разве в этом кто-то виноват,

Что с деревьев листья

улетели?

НА АВТОТРАССЕ

Какая зловещая трасса!
Какая суровая быль!
Шоферы высокого класса
Газуют сквозь ветер и пыль.

Газуют во мраке таежном
По рытвинам в грозной ночи...
— Эй! Где тут начальник дорожный?
— Лежит у себя на печи...

Шоферы уносятся с матом,
Начальству от них не уйти!
Но словно с беспомощным братом
Со мной обошлись по пути.

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой...

За мною захлопнулась дверца,
И было всю ночь напролет
Так жутко и радостно сердцу,
Что все мы несемся вперед,

Что все мы почти над кюветом
Несемся куда-то стрелой,
И есть соответствие в этом
С характером жизни самой!

ГРАНИ

Я вырос в хорошей деревне,
Красивым — под скрип телег!
Одной деревенской царевне
Я нравился как человек.

Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.

Мужал я под грохот МАЗов
На твердой рабочей земле...
Но хочется как-то сразу
Жить в городе и в селе.

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...



Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!
— Какое место вам? — Любое.
Любое место, край любой.

Еще волнует все, что было.
В душе бывшее не прошло.
Но слишком дождь шумел уныло,
Как будто все произошло.

И без мечты, без потрясений
Среди одних и тех же стен
Я жил в предчувствии осеннем
Уже не лучших перемен.

— Прости, — сказал родному краю, —
За мой отъезд, за паровоз.
Я несерьезно. Я играю.
Поговорим еще всерьез.

Мы разлучаемся с тобою,
Чтоб снова встретиться с тобой.
Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!

В ИЗБЕ

Стоит изба, дымя трубой,
Живет в избе старик рябой,
Живет за окнами с резьбой
Старуха, гордая собой,
И крепко-крепко в свой предел —
Вдали от всех вселенских дел —
Вросла избушка за бугром
Со всем семейством и добром!
И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И все глядит за перевал,
Где он ни разу не бывал...

ГОСТЬ

Гость молчит,
и я — ни слова!
Только руки говорят.
По своим стаканам снова
Разливаем все подряд.

Красным,
белым
и зеленым
Мы поддерживаем жизнь.
Взгляд блуждает по иконам,
Настроенье — хоть женись!

Я молчу, я слышу пенье,
И в прокуренной груди
Снова слышу я волнение:
Что же, что же впереди?

Как же так —
скажи на милость! —
В наши годы, милый гость,
Все прошло и прокатилось,
Пролетело, пронеслось?

Красным,
белым
и зеленым
Нагоняем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам...
Неужели бога нет?

ПОД ВЕТВЯМИ БОЛЬНИЧНЫХ БЕРЕЗ

Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из пурпуровых перьев
Для кого-то последний закат...
Вроде крепок, как свеженький овощ,
Человек, и легка его жизнь, —
Вдруг проносится «скорая помощь»
И сирена кричит: «Расступись!»
Вот и я на больничном покое.
И такие мне речи поют,
Что грешно за участие такое
Не влюбиться в больничный уют!
В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез...
Нет, не все, — говорю, — пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез...

СТОИТ ЖАРА

Стоит жара. Летают мухи.
Под знойным небом чахнет сад.
У церкви сонные старухи
Толкутся, бредят, верещат.

Смотрю угрюмо на калеку,
Соображаю, как же так —
Я дать не в силах человеку
Ему положенный пятак?

И как же так, что я все реже
Волнуюсь, плачу и люблю?
Как будто сам я тоже сплю
И в этом сне тревожно брежу...

ЭЛЕГИЯ («ОТЛОЖУ СВОЮ СКУДНУЮ ПИЩУ...»)

Отложу свою скудную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...

Долго плелся он с понурой головой
То по жаркой,
То по снежной мостовой,
Но и все-таки,

хоть путь его тяжел,
В чем-то он успокоение нашел.

Что желать ему?
Не все ли уж равно?

Лишь бы счастья
Было чуточку дано,
Что при солнце,

что при дождике косом...
И катилось колесо

за колесом.

ИДЕТ ПРОЦЕССИЯ

Идет процессия за гробом.
Долга дорога в полверсты.
На ветхом кладбище — сугробы
И в них увязшие кресты.

И длится, длится поневоле
Тяжелых мыслей череда,
И снова слышно, как над полем
Негромко стонут провода.

Трещат крещенские морозы.
Идет народ... Все глубже снег...
Все величавее березы...
Все ближе к месту человек.

Он в ласках мира, в бурях века
Достойно дожил до седин.
И вот... Хоронят человека...
— Снимите шапку, гражданин!



Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.

Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленница дров и солома,

Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Все слышней с ледяного болота...



Окошко. Стол. Половики.

В окошке — вид реки...

Черны мои черновики,

Чисты чистовики.

За часом час уходит прочь,

Мелькает свет и тень.

Звезда над речкой — значит, ночь,

А солнце — значит, день.

Но я забуду ночь реки,

Забуду день реки:

Мне спать велят чистовики,

Вставать — черновики.



О чем писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмет поэт!
Но если нет
Ни радости, ни горя,
Тогда не мни,
Что звонко запоешь,
Любая тема —
Поля или моря,
И тема гор —
Все это будет ложь!

ЭЛЕГИЯ

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
В тихий свой таинственный зенит
Полетели мысли отдыхать.

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок.

Стукну по карману — не звенит.
Стукну по другому — не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

. ВОЛНУЕТСЯ ЮЖНОЕ МОРЕ

Волнуется южное море.
Склоняясь, шумят кипарисы.
Я видел усталость и горе
В глазах постаревшей актрисы.

Я видел, как ходят матросы
С тоскою в глазах на закате,
Когда задыхаются розы
В бредовом своем аромате.

А ночью под аспидным небом
В томительных сумерках юга
Груженные спиртом и хлебом
Суда окликают друг друга.

И я, увозимый баржою
Все дальше за южную кромку,
Всему откликаюсь душою
Спокойно уже и негромко...

ТОТ ГОРОД ЗЕЛЕНый...

Тот город зеленый и тихий
Отрадно заброшен и глух.
Достойно, без лишней шумихи,
Поет, как в деревне, петух
На площади главной... Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс,
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле...
Ну что там отрадней, счастливей
Бывает еще на земле?
Взгляну я во дворик зеленый —
И сразу порадуют взор
Земные друг другу поклоны
Людей, выходящих во двор.
Сорву я цветок маттиолы
И вдруг заволнуюсь всерьез:
И юность, и плач радиолы
Я вспомню, и полные слез
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
Как я целовал их поспешно!
Как после страдал безутешно!
Как верил я в лучшие дни!
Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек, —
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.
Но вечно пусть будет все это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил...

СИНЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК

Я вспоминаю, сердцем просветлев,
Какой я был взволнованный и юный!
И пусть стихов серебряные струны
Продолжат свой тоскующий напев

О том, какие это были дни!
О том, какие это были ночи!
Издалека, как синенький платочек,
Всю жизнь со мной прощаются они...

От прежних чувств остался, охладев,
Спокойный свет, как будто отблеск
лунный,
Еще поют серебряные струны,
Но редок стал порывистый напев.

И все ж хочу я, странный человек,
Сберечь, как есть, любви своей усталость,
Взглянуть еще на все, что там осталось,
И распрощаться... может быть, навек.

УТРО ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

(Шутка)

Тяжело молчал
Валуи-догматик
В стороне от волн...
А между тем
Я смотрел на мир
Как математик,
Доказав с десяток
Теорем.

Скалы встали
Перпендикулярно
К плоскости залива.
Круг луны.
Стороны зари
Равны попарно,
Волны меж собою
Не равны!

Вдоль залива,
Словно знак вопроса,
Дергаясь спиной
И головой,
Пьяное подобие
Матроса
Двигалось
По ломаной кривой.

Спотыкаясь
Даже на цветочках, —
Боже! Тоже пьяная...
В дугу! —
Чья-то равнобедренная

Дочка
Двигалась,
Как радиус в кругу...

Я подумал:
Это так ничтожно,
Что о них
Нужна, конечно, речь,
Но всегда
Ничтожествами
Можно,
Если надо,
Просто пренебречь!

И в пространстве,
Ветреном и смелом,
Облако —
Из дивной дали гость —
Белым,
Будто выведенным мелом,
Знаком бесконечности
Неслось...

МАЧТЫ

Созерцаю ли звезды над бездной
С человеческой вечной тоской,
Водаряюсь ли в рубке железной
За штурвалом над бездной морской, —

Все я верю, воспрянувши духом,
В грозное свое бытие
И не верю настойчивым слухам,
Будто все перейдет в забытье,

Будто все начинаем без страха,
А кончаем в назначенный час
Тем, что траурной музыкой Баха
Провожают товарищи нас.

Это кажется мне невозможным.
Все мне кажется — нет забытья!
Все я верю, как мачтам надежным,
И делам, и мечтам бытия,

УВЛЕКЛАСЬ НЕЧАЯННО

Свадьбы были,
Пасха ли,
Но вся деревня дрыхнула,
Когда ты
Под ласками,
Словно порох, вспыхнула!

Вспыхнула —
Покаешься!
Время будет скверное.
Твой студент
Катается
Весело, наверное...

Временно,
Не временно,
А не сдержать слезинок!
Над тобой,
Беременной,
Облетел осинничек...

Ничего
Не чаяла!
Увлеклась нечаянно!
Чаянно,
Нечаянно,
Но все равно отчаянно!..



По холодной осенней реке
Пароход последний плывет —
Скоро, скоро в глухом городке
Зазимует районный флот.

Я уйду по знакомой тропе
Над родной ледоносной рекой
И в заснеженной русской избе
Зазимую с веселой вдовой.

Зазимую без всяких забот,
Как зимует у пристани флот...

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Потонула во тьме
Отдаленная пристань.
По канаве помчался —
Эх — осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И порой раздавался
Пароходный свисток.

Ну так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!
На тревожной земле
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

А последние листья
Бдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись,
Выбиваясь из сил.
На меня надвигалась
Темнота закоулков,
И архангельский дождик
На меня моросил...

ОТПЛЫТИЕ

Размытый путь. Кривые тополя.
Я слушал шум — была пора отлета.
И вот я встал и вышел за ворота,
Где простирались желтые поля,

И вдаль пошел... Вдали тоскливо пел
Гудок чужой земли, гудок разлуки!
Но, глядя вдаль и вслушиваясь в звуки,
Я ни о чем еще не сожалел...

Была суровой пристань в поздний час.
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.

И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких!
Я уплывал... все дальше... без оглядки
На мглистый берег юности своей,



Я забыл,
Как лошадь запрягают.
И хочу ее
Позапрягать,
Хоть они неопытных
Лягают
И до смерти могут
Залягать.
Не однажды
Мне уже досталось
От коней,
И рыжих, и гнедых, —
Знать не знали,
Что такое жалость,
Били в зубы прямо
И под дых.
Эх, запряг бы
Я сейчас кобылку
И возил бы сено,
Сколько мог,
А потом
Втыкал бы важно вилку
Поросенку
Жареному
В бок...

НА СЕНОКОСЕ

С утра носились,
Сенокосили,
Отсенокосили, пора!
В костер устало
Дров подбросили
И помолчали у костра.

И вот опять
Вздыхают женщины —
О чем-то думается им?
А мужики лежат,
Блаженствуя,
И в небеса пускают дым!

Они толкуют
О политике,
О новостях, о том о сем,
Не критикуют
Ради критики,
А мудро судят обо всем,

И слышен смех
В тени под ветками,
И песни русские слышны,
Все чаще новые,
Советские,
Все реже — грустной старины...



Помню, как тропкой,
едва заметной,
В густой осоке, где утки крикали,
Мы с острой ходили летом
Ловить налимов
под речными корягами.
Поймать налима непросто было.
Мало одного желания.
Мы уставали, и нас знобило
От длительного купания,
Но мы храбрились: — Рыбак не плачет! —
В воде плескались
до головокружения,
И наконец на песок горячий
Дружно падали в изнеможении!
И долго после мечтали лежа
О чем-то очень большом и смелом,
Смотрели в небо, и небо тоже
Глазами звезд
на нас смотрело...

ЖАРА

Всезнающей, вещей старухе
И той не уйти от жары.
И с ревом проносятся мухи,
И с визгом снуют комары,
И жадные липнут букашки,
И лютые оводы жгут,
И жалобно плачут барашки,
И лошади, топая, ржут.
И что-то творится с громилой,
С быком племенным! И взгляни —
С какою-то дьявольской силой
Все вынесут люди одни!
И строят они и корежат,
Повсюду их сила и власть.
Когда и жара изнеможет,
Гуляют еще, веселясь!..



Загородил мою дорогу
Грузовика широкий зад.
И я подумал: «Слава богу,
Село не то, что год назад».

Теперь в полях везде машины.
И не видать плохих кобыл.
И только вечный дух крушины
Все так же горек и уныл.

И резко, словно в мегафоны,
О том, что склад забыт и пуст,
Уже не каркают вороны
На председательский картуз.

Идут, идут обозы в город
По всем дорогам без конца —
Не слышно праздных разговоров,
Не видно праздного лица.

НОЧЬ НА ПЕРЕВОЗЕ

Осень

кончилась —

сильный ветер

Заметает ее следы!

И болотная пленка воды

Замерзает при звездном свете.

И грустит,

как живой,

и долго

Помнит свой сенокосный рай

Высоко над рекой, под елкой,

Полусгнивший пустой сарай...

От безлюдья и мрака

хвойных

Побережий, полей, болот

Мне мерещится в темных волнах

Затонувший какой-то флот.

И один во всем околотке

Выйдет бакенщик-великан

И во мгле

промелькнет

на лодке,

Как последний из могикан...

ЦВЕТОК И НИВА

Цветы! Увядшие цветы!
Как вас водой болотной хлещет,
Так с бесприютной высоты
На нас водой холодной плещет.
А ты? По-прежнему горда?
Или из праздничного зала
На крыльях в прошлые года
Твоя душа летать устала?
И неужели, отлюбя,
Уж не волнуешься, как прежде, —
Бежишь домой, а на тебя
Водой холодной с неба плещет?
Сырое небо, не плечи
Своей водою бесприютной!
И ты, сорока, не трещи
О нашей радости минутной!
Взойдет любовь на вечный срок.
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!

ИВА

Зачем ты, ива, вырастаешь
Над судоходною рекой
И волны мутные ласкаешь,
Как будто нужен им покой?

Преград не зная и обходов,
Бездумно жизнь твою губя,
От проходящих пароходов
Несутся волны на тебя!

А есть укромный край природы,
Где под церковною горой
В тени мерцающие воды
С твоей ласкаются сестрой...



У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки
На склоне осеннего дня.

Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывет по каналу в лес.

И холодно так, и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с легким свистом
Слетает прохладный лист,

И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под куполом светлых небес...

ВЗГЛЯНУЛ НА КУСТИК

Взглянул на кустик — истину постиг.
Он и цветет, и плодоносит пышно,
Его питает солнышко, и слышно,
Как в тишине поит его родник.

А рядом — глянь! — худые деревца.
Грустна под ними скудная лужайка,
И не звенит под ними балалайка,
И не стучат влюбленные сердца.

Тянулись к солнцу — вот и обожглись!
Вот и взялась нечаянная мука.
Ну что ж, бывает... Всякому наука,
Кто дерзко рвется в солнечную высь.

Зато с куста нарву для милых уст
Малины крупной, молодой и сладкой,
И, обнимая девушку украдкой,
Ей расскажу про добрый этот куст...



Уединившись за оконцем,
Я с головой ушел в труды!
В окно закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды...

Как жизнь полна! Иду в рубашке,
А ветер дышит все живей,
Журчит вода, цветут ромашки,
На них ложится тень ветвей.

И так легки былые годы,
Как будто лебеди вдали
На наши пастбища и воды
Летят со всех сторон земли!..

И снова в чистое оконце
Покоить скромные труды
Ко мне закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды...

ФАЛЬШИВАЯ КОЛОДА

— Когда же, когда же
Отчалит проклятый паром?
Как возьтятся долго
С погрузкой какого-то хлама! —
Сердились, галдя,
На своих чемоданах с добром
Четыре туза
И четыре причудливых дамы...

Меж тем рассветало...
И вот, озаряя ухабы,
Взлетел раскаленный,
Светящийся солнечный шар!
В торговый ларек
Потянулись с кошелками бабы,
Вокруг слободы
Расклубился сиреневый шарф —
Туман полевой,
И по заспанным омутным ямам
Паром зашумел,
Выплывая в могучий простор!..

Четыре туза
И четыре внимательных дамы
Со мной завели,
Как шарманку, глухой разговор
О хлебе, о ценах,
О смысле какой-то проблемы...

— Эй, что ж ты, паромщик?
Затей свою песню, затей! —
Терпеть не могу
Разговоров на общие темы
Среди молодых,
Но уже разжиревших людей!

Сошел я с парома
И сразу направился прямо
Дорогой, лесами,
Дорогой, полями,
а там
Четыре туза
И четыре испуганных дамы
За каждым шофером
Носились весь день по пятам...

ПАЛЬМЫ ЮГА

Еще один
Пропал безвестный день,
Покрыты снегом
Крыши деревень
И вся округа,
А где-то есть
Прекрасная страна,
Там чудно все —
И горы, и луна,
И пальмы юга...

И я глядел,
Глядел на перевал,
Где до сих пор
Ни разу не бывал...
Как воет вьюга!
За перевалом первым
Побывал,
А там открылся
Новый перевал...
О пальмы юга!

Забуду все.
Займусь своим трудом.
И все пойдет
Обычным чередом,
Но голос друга
Твердит, что есть
Прекрасная страна,
Там чудно все —
И горы, и луна,
И пальмы юга...

Не стану верить
Другу своему,
Уйду в свою
Мучительную тьму, —
Пусть будет вьюга!
Но, видно, так
Устроен человек,
Что не случайно
Сказано навек:
— О пальмы юга!



Наслаждаясь ветром резким,
Допоздна по вечерам
Я брожу, брожу по сельским
Белым в сумраке холмам.
Взгляд блуждает по дремотным,
По холодным небесам,
Слух внимает мимолетным,
Приглушенным голосам.
По родному захолустью
В тощих северных лесах
Не бродил я прежде с грустью,
Со слезами на глазах.
Было все — любовь и радость.
Счастье грезилось окрест.
Было все — покой и святость
Невеселых наших мест...
Я брожу... Я слышу пенье...
И в прокуренной груди
Снова слышу я волнение:
Что же, что же впереди?

БЕССОННИЦА

Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть...
Но как пустынна эта комната!

Мне странно кажется, что я
Среди отжившего, минувшего,
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего,

Что не под этим ли окном,
Под запыленной картиною
Меня навек затянет сном,
Как будто плом или тиною.

За мыслью мысль — какой-то бред,
За тенью тень — воспоминания,
Реальный звук, реальный свет
С трудом доходят до сознания.

И так раздумаешься вдруг,
И так всему придашь значение,
Что вместо радости — испуг,
А вместо отдыха — мучение...

ИЗ ВОСЬМИСТИШИЙ

1

В комнате темно,
В комнате беда —
Кончилось вино,
Кончилась еда,
Кончилась вода
Вдруг на этаже,
Отчего ж тогда
Весело душе?

2

В комнате давно
Кончилась беда,
Есть у нас вино,
Есть у нас еда,
И давно вода
Есть на этаже,
Отчего ж тогда
Пусто на душе?

3

Звездный небосвод
Полон светлых дум,
У моих ворот
Затихает шум,
И глядят глаза
В самый нежный том,
А в душе — гроза,
Молнии и гром!

4

Лунною порой,
 Омрачая мир,
 Шел понурый строй,
 Рядом — конвоир.
 А душе в ночи
 Снился чудный сон:
 Вербы и грачи,
 Колокольный звон...

5

Девушке весной
 Я дарил кольцо,
 С лаской и тоской
 Ей глядел в лицо,
 Холодна была
 У нее ладонь,
 Но сжигал дотла
 Душу мне — огонь!

6

Постучали в дверь,
 Открывать не стал,
 Я с людьми не зверь,
 Просто я устал,
 Может быть, меня
 Ждет за дверью друг,
 Может быть, родня...
 А в душе — испуг.

В комнате покой,
Всем гостям почет,
Полною рекой
Жизнь моя течет,
Выйду не спеша,
На село взгляну...
Окупись, душа,
В чистую волну!



Брал человек
Холодный мертвый камень,
По искре высекал
Из камня пламень.
Твоя судьба
Не менее сурова —
Вот так же высекать
Огонь из слова!

Но труд ума,
Бессонницей больного, —
Всего лишь дань
За радость неземную:
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!

О ПУШКИНЕ

Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...

ДУЭЛЬ

Напрасно
 дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Уже давно,
 как в божью милость,
Он молча верил
В смертный рок.
И сердце Лермонтова билось,
Как в дни обыденных
 тревог.
Когда же выстрел грянул мимо
(Наверно, враг
Не спал всю ночь!),
Поэт зевнул невозмутимо
И пистолет отбросил прочь...

ОДНАЖДЫ

Однажды Гоголь вышел из кареты
На свежий воздух. Думать было лень.
Но он во мгле увидел силуэты
Полузабытых тощих деревень.
Он пожалел безрадостное племя,
Оплакал детства светлые года,
Не смог представить будущее время —
И произнес: — Как скучно, господа!

ПРИЕЗД ТЮТЧЕВА

Он шляпу снял,
 чтоб поклониться
Старинным русским каланчам...
А после дамы всей столицы
О нем шептались по ночам.

И офицеры в пыльных бурках
Потом судили меж равнин
О том, как в залах Петербурга
Блистал приезжий дворянин.

А он блистал, как сын природы,
Играя взглядом и умом,
Блистал, как летом блещут воды,
Как месяц блещет над холмом!

И сны Венеции прекрасной,
И грустной родины привет —
Все отражалось в слове ясном
И поражало высший свет.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Его увидев, люди ликовали,
Но он-то знал, как был он одинок.
Он оглядел собравшихся в подвале,
Хотел подняться, выйти... и не смог!

И понял он, что вот слабеет воля,
А где покой среди больших дорог?!
Что есть друзья в тиши родного поля,
Но он от них отчаянно далек!

И в первый раз поник Сергей Есенин,
Как никогда, среди унылых стен...
Он жил тогда в предчувствии осеннем
Уж далеко не лучших перемен.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Слухи были глупы и резки:
Кто такой, мол, Есенин Серега,
Сам суди: удавился с тоски
Потому, что он пьянствовал много.

Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!

Версты все потрясенной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своеобразие есенинской музыки!

Это муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодную и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Был целый мир
 зловещ и ветрен,
Когда один в осенней мгле
В свое жилище Дмитрий Кедрин
Спешил, вздыхая о тепле...

Поэт, бывало, скажет слово
В любой компании чужой —
Его уж любят, как святого,
Кристалльно чистого душой.

О, как жестоко в этот вечер
Сверкнули тайные ножи!
И после этой страшной встречи
Не стало кедринской души.

Но говорят, что и во прахе
Он всё вставал над лебедой, —
Его убийцы жили в страхе,
Как будто это впрямь святой.

Как будто он во сне являлся
И так спокойно, как никто,
Смотрел на них и удивлялся,
Как перед смертью: — А за что?

ПАМЯТИ АНЦИФЕРОВА

На что ему отдых такой?
На что ему эта обитель,
Кладбищенский этот покой —
Минувшего страж и хранитель?
— Вы, юноши, нравитесь мне! —
Говаривал он мимоходом,
Когда на житейской волне
Носился с хорошим народом.
Среди болтунов и чудил
Шумел, над вином наклоняясь,
И тихо потом уходил,
Как будто за все извиняясь...
И нынче, являясь в бреду,
Зовет он тоскливо, как выюга!
И я, содрогаясь, иду
На голос поэта и друга.
Но — пусто! Меж белых могил
Лишь бродит метельная скрипка...
Он нас на земле посетил,
Как чей-то привет и улыбка.



Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета,
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..

УТРО УТРАТЫ

Человек не рыдал, не метался
В это смутное утро утраты,
Лишь ограду встряхнуть попытался,
Ухватившись за колья ограды...

Вот пошел он. Вот в черном затоне
Отразился рубашкою белой,
Вот трамвай, тормозя, затрезвонил,
Крик водителя: — Жить надоело?!

Было шумно, а он и не слышал.
Может, слушал, но слышал едва ли,
Как железо гремело на крышах,
Как железки машин грохотали.

Вот пришел он. Вот взял он гитару.
Вот по струнам ударил устало.
Вот запел про царицу Тамару
И про башню в теснине Дарьяла.

Вот и все... А ограда стояла.
Тяжки колья чугунной ограды.
Было утро дождя и металла,
Было смутное утро утраты...

КОГО ОБИДЕЛ?

В мое окно проникли слухи.
По чистой комнате моей
Они проносятся, как мухи, —
Я сам порой ношусь по ней!

И вспомнил я тревожный ропот
Вечерних нескольких старух.
Они, они тогда по тропам
Свой разнесли недобрый слух!

— Ему-то, люди, что здесь надо?
Еще утащит чье добро! —
Шумели все, как в бурю стадо...
И я бросал свое перо.

Есть сердобольные старушки
С душою светлою, как луч!
Но эти! Дверь своей избушки
Хоть запирай от них на ключ!

Они, они — я это видел! —
Свой разнесли недобрый слух.
О Русь! Кого я здесь обидел?
Не надо слушать злых старух...

НОЧНОЕ

Если б мои не болели мозги,
Я бы заснуть не прочь.
Рад, что в окошке не видно ни зги, —
Ночь, черная ночь!
В горьких невзгодах прошедшего дня
Было порой невмочь.
Только одна и утешит меня —
Ночь, черная ночь!
Грустному другу в чужой стороне
Словом спешил я помочь.
Пусть хоть немного поможет и мне
Ночь, черная ночь!
Резким, свистящим своим помелом
Вьюга гнала меня прочь.
Дай под твоим я погреюсь крылом,
Ночь, черная ночь!

КРУЖУСЬ ЛИ Я...

Кружусь ли я в Москве бурливой
С толпой знакомых и друзей,
Пойду ли к девушке красивой
И отдохну немного с ней,

Несусь ли в поезде курьерском
От всякой склоки и обид
И в настроенье самом мерзком
Ищу простой сердечный быт,

Засну ли я во тьме сарая,
Где сено есть и петухи.
Склоню ли голову, слагая
О жизни грустные стихи,

Ищу ль предмет для поклоненья
В науке старцев и старух, —
Нет, не найдет успокоенья
Во мне живущий адский дух!

Когда, бесчинствуя повсюду,
Смерть разобьет мою судьбу,
Тогда я горсткой пепла буду,
Но дух мой... вылетит в трубу!

УГРЮМОЕ

Я вспомнил
 угрюмые волны,
Летящие мимо и прочь!
Я вспомнил угрюмые молы,
Я вспомнил угрюмую ночь.
Я вспомнил угрюмую птицу,
Взлетевшую
 жертву стеречь.
Я вспомнил угрюмые лица,
Я вспомнил угрюмую речь.
Я вспомнил угрюмые думы,
Забывшие мною уже...
И стало угрюмо, угрюмо
И как-то спокойно душе.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Он шел против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.

Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор...

Он шел. Но угрюмо и грозно
Белели снега впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!

Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед...
Он умер без крика, без слова,
Он знал, что в дороге умрет.

Он умер, снегами отпетый...
А люди вели разговор
Все тот же, узнавши об этом:
— Бродяга. Наверное, вор.

ГРОЗА

Поток вскипел
и как-то сразу прибыл!
По небесам, сверкая там и тут,
Гремело так, что каменные глыбы
Вот-вот, казалось,
с неба упадут!
И вдруг я встретил
рухнувшие липы,
Как будто, хоть не видел их никто,
И впрямь упали каменные глыбы
И сокрушили липы...
А за что?

ОСЬ

Как центростремительная сила,
Жизнь меня по всей земле носила!

За морями, полными задора,
Я душою был нетерпелив, —
После дива сельского простора
Я открыл немало разных див.

Нахлобучив «мичманку» на брови,
Шел в театр, в контору, на причал.
Полный свежей юношеской крови,
Вновь, куда хотел, туда и мчал.

Но моя родимая земляца
Надо мной удерживает власть —
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,

И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как земля вокруг своей оси!..

ПО ДОРОГЕ ИЗ ДОМА

Люблю ветер. Больше всего на свете.
Как воет ветер! Как стонет ветер!
Как может ветер выть и стонать!
Как может ветер за себя постоять!

О ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер
Сказать о жизни на целом свете.

Спасибо, ветер! Твой слышу стон.
Как облегчает, как мучит он!
Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!
Я сам покинул родную крышу...

Душа ведь может, как ты, стонать.
Но так ли может за себя постоять?
Безжизнен, скучен и ровен путь.
Но стонет ветер! Не отдохнуть...

ЗИМНИМ ВЕЧЕРКОМ

Ветер, не ветер —
Иду из дома!
В хлеву знакомо
Хрустит солома,
И огонек светит...

А больше —
 ни звука!
Ни огонька!
Во мраке вьюга
Летит по кочкам...

Эх, Русь, Россия!
Что звону мало?
Что загрустила?
Что задремала?

Давай пожелаем
Всем доброй ночи!
Давай погуляем!
Давай поохочем!

И праздник устроим,
И карты раскроем...
Эх! Козыри свежи.
А дураки те же.

ОСЕННЯЯ ЛУНА

Грустно-грустно последние листья,
 Не играя уже, не горя,
Под гнетущей погаснувшей высью,
Над заслеженной грязью и слизию
 Осыпались в конце октября.

И напрасно так шумно, так слепо,
 Приподнявшись, неслись над землей,
Словно где-то не кончилось лето,
Может, там, за расхлябанным следом,
 За тележной цыганской семьей...

Люди жили тревожней и тише
 И смотрели в окно иногда,
Был на улице говор не слышен,
Было слышно, как воют над крышей
 Ветер, ливень, труба, провода...

Так зачем, проявляя участие,
 Между туч проносились луна
И светились во мраке ненастья,
Словно отблеск весеннего счастья,
 В красоте неизменной одна?

Под луной этой светлой и быстрой
 Мне еще становилось грустней
Видеть табор под бурею мгlistой,
Видеть ливень и грязь, и со свистом
 Ворох листьев, летящий над ней.

КОНЕЦ

Смерть приближалась,
приближалась,
Совсем приблизилась уже.
Старушка к старику прижалась —
И просветлело на душе!

Легко-легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней!

И невозможен путь обратный,
И славен тот, который был,
За каждый миг его отрадный,
За тот весенний краткий пыл.

— Все хорошо, все слава богу... —
А дед бормочет о своем,
Мол, поживи еще немного,
Так вместе, значит, и умрем.

— Нет, — говорит. — Зовет могилка.
Не удержать меня теперь.
Ты, — говорит, — вина к поминкам
Купи. А много-то не пей...

А голос был все глуше, тише,
Жизнь угасала навсегда,
И стало слышно, как над крышей
Тоскливо воют провода...

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Утром проснешься на чердаке,
Выглянешь — ветры свистят!
Быстрые волны бегут по реке,
Мокнет, качается сад.

С гробом телегу ужасно трясет
В поле меж голых раkit.
— Бабушка дедушку в ямку везет, —
Девочке мать говорит...

Ты не печалься! Послушай дожди
С яростным ветром и тьмой,
Это цветочки еще — подожди! —
То, что сейчас за стеной.

Будет еще не такой у ворот
Ветер, скрипенье и стук.
Бабушка дедушку в ямку везет,
Птицы летят на юг,...

НОЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ

Когда стою во мгле,
Душе покоя нет —
И омуты страшной,
И резче дух болотный.
Миры глядят с небес,
Свой излучая свет,
Свой открывая лик,
Прекрасный, но холодный,

И гор передо мной
Вдруг возникает цепь,
Как сумрачная цепь
Загадок и вопросов, —
С тревогою в душе,
С раздумьем на лице,
Я чуток, как поэт,
Бессилен, как философ.

Вот коростеля крик
Послышался опять...
Зачем стою во мгле?
Зачем не сплю в постели?
Скорее спать!
Ночами надо спать!
Настойчиво кричат
Об этом коростели...

ОСТРОВА СВОИ ОБОГРЕВАЕМ

Захлебнулось поле и болото
Дождевой водою — дождались!
Прозябаньем, бедностью, дремотой
Все объято — впадины и высь!

Ночь придет — родимая окрестность,
Словно в омут, канет в темноту!
Темнота, забытость, неизвестность
У ворот, как стража на посту.

По воде, качаясь, по болотам
Бор скрипучий движется, как флот!
Как же мы, оставшие от флота,
Коротаем осень меж болот?

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Да всегда с огнем и урожаем,
С колыбельным пеньем до утра...

Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужей дорог!
Мать России целой — деревушка,
Может быть, вот этот уголок...



А между прочим, осень на дворе.
Ну что ж, я вижу это не впервые.
Скулит собака в мокрой конуре,
Залечивая рапы боевые.
Бегут машины, мчатся напрямик
И вдруг с ухаба шлепаются в лужу,
Когда, буксуя, воеет грузовик,
Мне этот вой выматывает душу.
Кругом шумит холодная вода,
И все кругом расплывчато и мглисто.
Незритый ветер, словно в невода,
Со всех сторон затягивает листья...
Раздался стук. Я выдернул засов.
Я рад обняться с верными друзьями.
Повеселились несколько часов,
Повеселились с грустными глазами...
Когда в сениях опять простились мы,
Я первый раз так явственно услышал,
Как о суровой близости зимы
Тяжелый ливень жаловался крышам.
Прошла пора, когда в зеленый луг
Я отворял узорное оконце —
И все лучи, как сотни добрых рук,
Мне по утрам протягивало солнце...

НА ВОКЗАЛЕ

Закатилось солнце за вагоны.
Вот еще один безвестный день,
Торопливый, радостный, зеленый,
Отошел в таинственную тень...

Кто-то странный (видимо, не веря,
Что поэт из бронзы, неживой)
Постоял у памятника в сквере,
Позвенел о бронзу головой,

Посмотрел на надпись с недоверьем
И ушел, посвистывая, прочь...
И опять родимую деревню
Вижу я: избышки и деревья,
Словно в омут, канувшие в ночь.

За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага...

О вине подумаю, о хлебе,
О птенцах, собравшихся в полет,
О земле подумаю, о небе
И о том, что все это пройдет.

И о том подумаю, что все же
Нас кому-то очень будет жаль,
И опять, веселый и хороший,
Я умчусь в неведомую даль!..

ДОРОЖНАЯ ЭЛЕГИЯ

Дорога, дорога,
Разлука, разлука.
Знакома до срока
Дорожная мука.

И отчее племя,
И близкие души,
И лучшее время
Все дальше, все глуше.

Лесная сорока
Одна мне подруга.
Дорога, дорога,
Разлука, разлука.

Устало в пыли
Я влачусь, как острожник,
Темнеет вдали,
Приуныл подорожник,

И страшно немного
Без света, без друга,
Дорога, дорога,
Разлука, разлука...

ПОЛНОЧНОЕ ПЕНЬЕ

Когда за окном

потемнело,

Он тихо потребовал спички

И лампу зажег неумело,

Ругая жену по привычке.

И вновь колдовал

над стаканом,

Над водкой своей, с нетерпением...

И долго потом не смолкало

Его одинокое пенье.

За стенкой с ребенком возились,

И плач раздавался и ругань,

Но мысли его уносились

Из этого скорбного круга...

И долго без всякого дела,

Как будто бы слушая пенье,

Жена терпеливо сидела

Его молчаливою тенью.

И только когда за оградой

Лишь сторож фонариком светит,

Она говорила: — Не надо!

Не надо! Ведь слышат соседи! —

Он грозно

вставал,

как громила.

— Я пью, — говорил, — ну и что же? —

Жена от него отходила,

Воскликнув: — О господи боже!.. —

Меж тем как она раздевалась

И он перед сном раздевался,

Слезами она заливалась,

А он соловьем

заливался...

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна. —
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его, — вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, не кстати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот он и кончился,
покой!
Взметая снег, завывла вьюга.
Завыли волки за рекой
Во мраке дуга.

Сижу среди своих стихов,
Бумаг и хлама.
А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.

Там поле, небо и стога,
Хочу туда — о километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!

Но я смогу,
но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..

Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь —
Ночные ветры?



По мокрым скверам
проходит осень,
Лицо нахмурия!
На громких скрипках
дремучих сосен
Играет буря!
В обнимку с ветром
иду по скверу
В потемках ночи.
Ищу под крышей
свою пещеру —
В ней тихо очень.
Горит пустынный
электропламень.
На прежнем месте,
Как драгоценный какой-то камень,
Сверкает перстень,
И мысль, летая,
кого-то ищет
По белу свету...
Кто там стучится
в мое жилище?
Покоя нету!
Ах, это злая старуха осень,
Лицо нахмурия,
Ко мне стучится,
и в хвое сосен
Не молкнет буря!
Куда от бури,
от непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы,
И я плачу...

СЛЕЗ НЕ ЛЕЙ...

Есть пора — души моей отрада:
Зыбко все, но зелено уже!
Есть пора осеннего распада,
Это тоже родственно душе.

Грязь кругом, а тянет на болото,
Дождь кругом, а тянет на реку,
И грустит избушка между лодок
На своем ненастном берегу.

Облетают листья, уплывают
Мимо голых веток и оград...
В эти дни дороже мне бывают
И дела, и образы утрат.

Слез не лей над кочкою болотной
Оттого, что слишком я горяч,
Вот умру — и стану я холодный,
Вот тогда, любимая, поплачь!

СТАРИК

Идет старик в простой одежде.
Один идет издалека.
Не греет солнышко, как прежде,
Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали
Во мраке тучи грозовой,
И было все полно печали
Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретится ему,
Глядел на птиц, глядел на елку...
Наверно, трудно одному.

Когда, поживаясь зябко,
Поест немного и поспит,
Ему какая-нибудь бабка
Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,
Несет котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч!

ЖАР-ПТИЦА

Когда приютит
 задремавшее стадо
Семейство берез на холме за рекой,
Пастух, наблюдая игру листопада,
Лениво сидит и болтает ногой...

Есть маленький домик в багряном лесу,
И отдыха нынче там нет и в помине:
Отец мой готовит ружье на лису
И вновь говорит о вернувшемся сыне.

А дальше за лесом —
 большая деревня.
Вороны на елках, старухи в домах.
Деревни, деревни вдали на холмах,
Меж ними село
 с колокольною древней...

В деревне виднее природа и люди.
Конечно, за всех говорить не берусь!
Виднее над полем при звездном салюте,
На чем поднималась великая Русь.

Галопом колхозник погнал лошадей,
А мне уж мерещится русская удаль,
И манят меня огоньками уюта
Жилища, мерещится, лучших людей.

Мотало меня и на сейнере в трюме,
И так, на пирушках, во дни торжества,
И долго на ветках дорожных раздумий,
Как плод, созревала моя голова.

Не раз ко дворцу, где сиял карнавал,
Я ветреным франтом в машине кагился,
Ну, словом, как бог, я везде побывал
И все же, и все же домой воротился...

— Старик! А давно ли

ты ходишь за стадом?

— Давно, — говорит. — Колокольная вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.

— А ты не заметил, как годы прошли?

— Заметил, заметил! Попало как надо.

— Так что же нам делать, узнать интересно...

— А ты, — говорит, — полюби и жалея,
И помни

хотя бы родную окрестность,

Вот этот десяток холмов и полей...

— Ну ладно! Я рыжиков вам принесу...

Как просто в прекрасную глушь листопада

Уводит меня полевая ограда,

И детское пенье в багряном лесу,

И тайна древнейших строений и плит,

И только от бывшей печали, быть может,

Нет-нет да и вспомнится вдруг, затревожит,

Что осень, жар-птица,

вот-вот

улетит...

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОСТЕР

В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы...

И ночь, растроченная вся
На драгоценные забавы,
Редает, выше вознося
Небесный купол, полный славы.

Прощай, костер! Прощайте все,
Кто нынче был со мною рядом,
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным обрядом...

Хотя доносятся уже
Сигналы старости грядущей,
Надежды, скрытые в душе,
Светло восходят в день цветущий.

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...

В ЛЕСУ

1

В лесу,
 под соснами,
На светлых вырубках
Все мысли слезные
Сто раз я выругал.
А ну поближе-ка
 иди к сосне!
Ах, сколько рыжиков!
Ну как во сне...
Я счастлив, родина, —
Грибов не счесть.
Но есть смородина,
 малина есть.
И сыплет листья лес,
Как деньги медные, —
Спасибо, край чудес!
Но мы не бедные...
А чем утешены,
 что лес покинули
Все черти, лешие
И все кикиморы?..

2

Ах, вот —
 колодина!
Я плакал здесь.
От счастья, родина.
Ведь счастье есть.
И счастье дикое,
И счастье скромное,

И есть великое,
Ну, пусть — огромное.
Спасибо, родина,
что счастье есть...

3

А вот — болотина,
Звериный лес.
И снова узкие
дороги скрещены, —
О, эти русские
Распутья вещице!
Взгляну на ворона —
И в тот же миг
Пойду не в сторону,
а напрямик...

Я счастлив, родина.
Спасибо, родина.
Всех ягод лучше —
красная смородина...

ФЕРАПОНТОВО

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенах,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...



Уже деревня вся в тени.
В тени сады ее и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше —
Как ярко там горят огни!
Одна у нас в деревне мглистой
Соседка древняя жива,
И на лице ее землистом
Растет какая-то трава.
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира
И льется в душу свет с небес,
Когда деревня вся в тени,
И бабка спит, и над прудами
Шевелит ветер лопухами,
И мы с тобой совсем одни!

ДАЛЕКОЕ

В краю, где по дебрям, по рекам
Метелица свищет кругом,
Стоял запорошенный снегом
Бревенчатый низенький дом.

Я помню, как звезды светили,
Скрипел за окошком плетень,
И стаями волки бродили
Ночами вблизи деревень...

Как все это кончилось быстро!
Как странно ушло навсегда!
Как шумно — с надеждой и свистом —
Помчались мои поезда!

И все же, глаза закрывая,
Я вижу: над крышами хат,
В морозном тумане мерцая,
Таинственно звезды дрожат.

А вьюга по сумрачным рекам,
По дебрям гуляет кругом,
И весь запорошенный снегом
Стоит у околицы дом...

СТАРЫЙ КОНЬ

Я долго ехал волоком.
И долго лес ночной
Все слушал медный колокол,
Звеневший под дугой.

Звени, звени легонечко,
Мой колокол, трезвонь!
Шагай, шагай тихонечко,
Мой бедный старый конь!

Хоть волки есть на волоке
И волок тот полог,
Едва оп сани к Вологде
По волоку волок...

Звени, звени легонечко,
Мой колокол, трезвонь,
Шагай, шагай тихонечко,
Мой добрый старый конь!

И вдруг заржал он молодо,
Гордясь без похвалы,
Когда увидел Вологду
Сквозь заволоку мглы...

ДАЛЕКОЕ («ЛЕТИ, МОЙ ОТЧАЯННЫЙ ПАРУС...»)

Лети, мой отчаянный парус!
Не знаю, насколько смогу,
Чтоб даже тяжелая старость
Меня не согнула в дугу!

Но выплывут, словно из дыма,
И станут родней и больней
Стрелой пролетевшие мимо
Картины отроческих дней...

Запомнил я снег и салазки,
Метельные взрывы снегов,
Запомнил я песни и пляски
Нарядных больших мужиков,

Запомнил суслоны пшеницы,
Запомнил, как чахла заря
И грустные-грустные птицы
Кричали в конце сентября.

А сколько друзей настоящих,
А сколько там было чудес,
Лишь помнят сосновые чащи
Да темный еловый лес...

НА ОЗЕРЕ

Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу.
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...
О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебедя — белым!

ЯНВАРСКОЕ

Мороз под звездочками светлыми
По лугу белому, по лесу ли
Идет, поигрывая ветками,
Снежком поскрипывая весело.
И все под елками похаживает,
И все за елками ухаживает,
Снежком атласным принаряживает
И в новогодний путь — проваживает!
А после сам принаряжается,
В мальчишку вдруг преображается
И сам на праздник отправляется:
— Кому невесело гуляется? —
Лесами темными и грозными
Бежит вперед с дарами редкими,
И все подмигивает звездами,
И все поигрывает ветками,
И льдишки отвечают звонами,
А он спешит, спешит к народу
С шампанским, с музыкой, с поклонами
Спокойно прожитому году;
Со всеми дружит он и знает, —
И жизнь в короткой этой праздности
Как будто слова начинается —
С морозной свежести и ясности!



Огороды русские
под холмом седым.
А дороги узкие,
тихие, как дым.
Солнышко осоковое
брызжет серебром.
Чучело гороховое
машет рукавом...
До свиданья, пугало,
огородный бог,
душу убаюкала
пыль твоих дорог...



«Чудный месяц плывет над рекою», —
Где-то голос поет молодой.
И над родиной, полной покоя,
Опускается сон золотой!

Не пугают разбойные лица,
И не мыслят пожары зажечь,
Не кричит сумасшедшая птица,
Не звучит незнакомая речь.

Неспокойные тени умерших
Не встают, не подходят ко мне.
И, тоскуя все меньше и меньше,
Словно бог, я хожу в тишине.

И откуда берется такое,
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя,
Так светлы по ночам небеса!

Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Все звенят и звенят бубенцы.

ДЕВОЧКА ИГРАЕТ

Девочка на кладбище играет,
Где кусты лепечут, как в бреду.
Смех ее веселый разбирает,
Безмятежно девочка играет
В этом пышном радостном саду.

Не любуйся этим пышным садом!
Но прими душой, как благодать,
Что такую крошку видишь рядом,
Что под самым грустным нашим взглядом
Все равно ей весело играть!..

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...



ПЕРВЫЙ СНЕГ

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в сияющем снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!



Меня звала моя природа.
Но вот однажды у пруда
Могучий вид маслозавода
Явился образом труда!
Там за подводкою подвода
Во двор ввозила молоко,
И шум, и свет маслозавода
Работу славил широко!
Как жизнь полна у бригадира!
У всех, кто трудится, полна,
У всех, кого встречают с миром
С работы дети и жена!
Я долго слушал шум завода —
И понял вдруг, что счастье тут:
Россия, дети, и природа,
И кропотливый сельский труд!..

НА РЕКЕ

Реки не видел сроду
Дружок мой городской.
Он смотрит в нашу воду
С любовью и тоской!
Вода тепло струится,
Над ней томится бор.
Я плаваю, как птица,
А друг мой — как топор...

А ДУБА НЕТ...

Поток, разбуженный весною,
Катился в пене кружевной,
И озаряемый луною
Светился тихо край родной.
Светился сад, светилось поле
И глубь дремотная озер.
И ты пошла за мной без воли,
Как будто я гипнотизер...
Зачем твой голос волновался
И разливался лунный свет?
Где дуб шумел и красовался,
Там пень стоит... А дуба нет...

НЕ ПРИШЛА

Из окна ресторана —
 свет зеленый,
 болотный,

От асфальта до звезд
 заштрихована ночь
 снегопадом,

Снег глухой,
 беспристрастный,
 бесстрастный,
 холодный

Надо мной,
 над Невой,
 над матросским
 суровым отрядом.

Сумасшедший,
 ночной,
 вдоль железных заборов,

Удивляя людей,
 что брожу я?
 И мерзну зачем?

Ты и раньше ко мне
 приходила не скоро,
А вот не пришла и совсем...

Станный свет,
 ядовитый,
 зеленый,
 болотный,

Снег и снег
 без метельного
 свиста и воя.

Снег глухой,
 беспристрастный,
 бесстрастный,
 холодный,

Мертвый снег,

ты зачем

не даешь мне покоя?

ЭХО ПРОШЛОГО

Много было в комнате гостей,
Пирогов, вина и новостей.
Много ели, пили и шутили,
Много раз «Катюшу» заводили...
А потом один из захмелевших,
Голову на хромку уронив,
Из тоски мотивов устаревших
Вспомнил вдруг

кладбищенский мотив:

«Вот умру, похоронят
На чужбине меня.
И родные не узнают,
Где могила моя...»

— Эх, ребята, зарыдать хочется!
Хошь мы пьем, ребята,
Хошь не пьем,
Все одно помрем, как говорится,
Все, как есть, когда-нибудь помрем.

Парень жалким сделался
и кротким,

Погрустнели мутные глаза.
По щеке, как будто капля водки,
Покатилась крупная слеза.

«У других на могилах
Всё цветы, всё цветы.
На моей сырой могиле
Всё кусты, всё кусты...»

Друг к нему:

— Чего ты киснешь, Проня? —
Жалобней: — Чего тебе-то выть?
Ты умрешь — тебя хоть похоронят.
А меня? Кому похоронить? —

И дуэтом

здоровилы эти,

Будто впрямь несчастливы они,
Залились слезами, словно дети,
На глазах собравшейся родни!

А ведь в песне,

так некстати спетой,

Все в такую даль отдалено,

Что от этих слез,

От песни этой,

Стало всем не грустно,

а смешно!

В дружный хохот

вкладывали душу.

— Ох, умора! Ох и мужики! —

Еще звонче пели про Катюшу

И плясали, скинув пиджаки!

В ГОРОДЕ

Как часто-часто, словно птица,
Душа тоскует по лесам!
Но и не может с тем не слиться,
Что человек воздвигнул сам!

Холмы, покрытые асфальтом
И яркой россыпью огней,
Порой так шумно славят альти,
Как будто нету их родней!

ФИАЛКИ

Я в фуфаячке грязной
Шел по насыпи мола,
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:

— Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!

Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно.
Умолял, караулил...
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И называли младенцем...

Так зачем мою душу
Так волна волновала,
Посылая на сушу
Брызги сильного шквала?
Кроме моря и неба,
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...
Сел я в белый автобус,
В белый, теплый, хороший,
Там вертелась, как глобус,
Голова контролерши.

Назвала хулиганом,
Назвала меня фруктом...
Как все это погано!
Эх! Кондуктор, кондуктор...

Ты не требуй билета,
Увези на толкучку,
Я, как маме, за это
Поцелую вам ручку!

Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,
Где толкают друг друга
И толкают друг другу,
Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...

О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...



Эх, коня да удаль азиата
Мне взамен чернильниц и бумаг, —
Как под гибким телом Азамата,
Подо мною взвился б
аргамак!

Как разбойник,
— только без кинжала,
Покрестившись лихо на собор,
Мимо волн обводного канала
Поскакал бы я во весь опор!
Мимо окон Эдика и Глеба.
Мимо криков: «Это же — Рубцов!»
Не простой,
возвышенный,
в седле бы
Прискакал к тебе в конце концов!
Но, должно быть, просто и без смеха
Ты мне скажешь: — Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси? —
И, стыдясь за дикий свой поступок,
Словно богом свергнутый с небес,
Я отвечу буднично и глупо:
— Да, конечно, это не прогресс...



Дышу натруженно,
 как помпа!
Как никому не нужный груз,
Лежу на койке, будто бомба, —
Не подходите! Я взорвусь!

Ах, если б в гости пригласили,
Хотя б на миг, случайно пусть,
В чудесный дом, где кот Василий
Стихи читает наизусть!

Читает Майкова и Фета,
Читает, рифмами звеня,
Любого доброго поэта,
Любого, только не меня...

Пока я звякаю на лире
И дым пускаю в потолок,
Как соловей, в твоей квартире
Зальется весело звонок.

Ты быстро спросишь из-за двери,
Оставив массу важных дел:
— Кого?
— Марину.
— Кто там?
— Эрик.
— Ой, мама! Эрик прилетел!

Покрытый пылью снеговою,
С большим волнением в крови,
Он у тебя над головою
Произнесет слова любви!

Ура! Он лучший в целом мире!
Сомнения не было и нет...
И будет бал в твоей квартире —
Вино, и музыка, и свет.

Пусть будет так!
Твой дом прекрасен.
Пусть будет в нем привычный лад...
Поэт нисколько не опасен,
Пока его не разозлят.



Г. Ф.

Ты просил написать о том,
Что здесь было
И что здесь стало.
...Я сейчас лежу под кустом,
Где тропинка берет начало.
Этот сад мне, как раньше, мил,
Но напрасно к одной блондинке
Я три года назад ходил
Вот по этой самой тропинке.
Я по ней не пойду опять,
Лишь взлорадствую: «Где уж нам уж!»
Та блондинка хотела ждать,
Не дождалась...

И вышла замуж.
Все законно: идут года,
Изменяя нас и планету,
Там, где тополь шумел тогда,
Пень стоит...

А тополя пету.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО

Что я тебе отвечу на обман?
Что наши встречи давние у стога?
Когда сбежала ты в Азербайджан,
Не говорил я: «Скатертью дорога!»

Да, я любил. Ну что же? Ну и пусть.
Пора в покое прошлое оставить.
Давно уже я чувствую не грусть
И не желаю что-нибудь поправить.

Слова любви не станем повторять
И назначать свидания не станем.
Но если все же встретимся опять,
То сообща кого-нибудь обманем...

РАЗЛАД

Мы встретились
У мельничной запруды.
И я ей сразу
Прямо все сказал!
— Кому, — сказал, —
Нужны твои причуды?
Зачем, — сказал, —
Ходила на вокзал?

Она сказала:
— Я не виновата.
— Ответь, — сказал я, —
Кто же виноват? —
Она сказала:
— Я встречала брата.
— Ха-ха, — сказал я, —
Разве это брат?

В моих мозгах
Чего-то не хватало:
Махнув на все,
Я начал хохотать.
Я хохотал,
И эхо хохотало,
И грохотала
Мельничная гать.

Она сказала:
— Ты чего хохочешь?
— Хочу, — сказал я, —
Вот и хохочу! —
Она сказала:
— Мало ли что хочешь!
Я это слушать
Больше не хочу!

Конечно, я ничуть
Не напугался,
Как всякий,
Кто ни в чем не виноват,
И зря в ту ночь
Пылал и трепыхался
В конце безлюдной улицы
Закат...

В ТВОИХ ГЛАЗАХ

В твоих глазах —
Любовь кромешная,
Немая, дикая, безгрешная!
И что-то в них
Религиозное...
А я — создание несерьезное —
Сижу себе
За грешным вермутом,
Молчу, усталость симулирую...
— В каком году
Стрелялся Лермонтов? —
Я на вопрос не реагирую!
Пойми, пойми
Мою уклончивость,
Что мне любви твоей
Не хочется,
Хочу, чтоб все
Скорее кончилось!
Хочу! Но разве
Это кончится?..

НАСЛЕДНИК РОЗЫ

В саду, где пела радиоло,
Где танцевали «Вальс цветов»,
Все глуше дом у частокола,
Все нелюдимей шум ветров.

Улыбка лета так знакомо
Опять сошла с лица земли!
И все уехали из дома
И радиолу увезли...

На огороде с видом жалким,
Как бы стыдясь за свой наряд,
Воронье пугало на палке
Торчит меж выкопанных гряд.

Порой тревожно — не до шуток! —
В рассветном воздухе седом
Мелькнет косяк последних уток
Над застывающим прудом.

Вот-вот подует зимним, снежным.
Все умирает... Лишь один
Пылает пламенем мятежным —
Наследник розы — георгин!

ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Я тоже служил на флоте!
Я тоже памятью полн
О той бесподобной работе —
На гребнях чудовищных волн.

Тобою — ах, море, море! —
Я взвинчен до самых жил,
Но, видно, себе на горе
Так долго тебе служил...

Любимая чуть не убилась, —
Ой, мама родная земля! —
Рыдая, о грудь мою билась,
Как море о грудь корабля.

В печали своей бесконечной,
Как будто вослед кораблю,
Шептала: «Я жду вас... вечно»,
Шептала: «Я вас... люблю».

Люблю вас! Какие звуки!
Но звуки ни то ни се —
И где-то в конце разлуки
Забыла она про все.

Однажды с какой-то дороги
Отправила пару слов:
«Мой милый! Ведь так у многих
Проходит теперь любовь...»

И все же в холодные ночи
Печальней видений других —
Глаза ее, близкие очень,
И море, отнявшее их.



**Я весь в мазуте,
весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!**

Печально пела радиола
Про мимолетный наш уют.
На камни пламенного мола
Матросы вышли из кают.

Они с родными целовались.
В лицо им дул знобящий норд.
Суда гудели, надрывались,
Матросов требуя на борт.

И вот опять — святое дело!
И наш корабль, заботой полн,
Совсем не так осиротело
Плывет среди бескрайних волн...

Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал,
Чтоб для отважных вечно — море,
А для уставших — свой причал...

В ОКЕАНЕ

Забрызгана
 крупно
 и рубка,
 и рында,
Но час
 отправления
 дан!
И тральщик
 тралфлота
 треста
 «Севрыба»
Пошел
 промышлять
 в океан...
Подумаешь,
 рыба!
 Треске
 мелюзговой
Язвил я:
 — Попалась уже? —
На встречные
 злые
 суда без улова
Кричал я:
 — Эй, вы!
 На барже! —
А волны,
 как мускулы,
 взмыленно,
 рьяно,
Буграми
 в суровых тонах

Ходили
по черной
груди океана,
И чайки плескались
в волнах,
И долго,
и хищно,
стремясь поживиться,
С кричащей
голодной
тоской
Летели
большие
клювастые
птицы
За судном,
пропахшим
треской...

УТРО НА МОРЕ

1

Как хорошо! Ты посмотри!
В ущелье белый пар клубится,
На крыльях несут свет зари
Перелетающие птицы.
Соединясь в живой узор,
Бежит по морю рябь от ветра,
Калейдоскопом брызг и света
Сверкает моря горизонт.
Вчера там солнце утонуло,
Сегодня выплыло — и вдруг,
Гляди, нам снова протянуло
Лучи, как сотни добрых рук.

2

Проснись с утра,
со свежестью во взоре
Навстречу морю окна отвори!
Взгляни туда, где в ветренном просторе
Играют волны в отблесках зари.
Пусть не заметишь в море перемены,
Но ты поймешь, что празднично оно.
Бурлит прибой под шапкой белой пены,
Как дорогое красное вино!
А на скале, у самого обрыва,
Роняя в море призрачную тень,
Так и застыл в восторге молчаливом
Настороженный северный олень.
Заря в разгаре —
как она прекрасна!
И там, где парус реет над волной,
Встречая день, мечтательно и страстно
Поет о счастье голос молодой!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РЕЙСА

Ах, как светло роятся огоньки!
Как мы к земле спешили издалече!
Береговые славные деньки!
Береговые радостные встречи!

Душа матроса в городе родном
Сперва блуждает, будто бы в тумане:
Куда пойти в бушлате выходном,
Со всей тоской, с получкою в кармане?

Он не спешит ответить на вопрос,
И посреди душевной этой смуты
Переживает, может быть, матрос
В суровой жизни лучшие минуты.

И все же лица были бы угрюмы
И моряки смотрели тяжело,
Когда б от рыбы не ломились трюмы,
Когда б сказать пришлось: «Не повезло».

НА ПЛАЦУ

(Шутка)

Я марширую на плацу.
А снег стекает по лицу!

Я так хочу иметь успех!
Я марширую лучше всех!

Довольны мною все кругом!
Доволен мичман и старпом!

И даже — видно по глазам —
Главнокомандующий сам!

✱

(Шутка)

Мое слово верное
 прозвенит!
Буду я, наверное,
 знамепит!
Мне поставят памятник
 на селе!
Буду я и каменный
 навеселе...

ТЫ С КОРАБЛЕМ ПРОЩАЛАСЬ...

С улыбкой на лице и со слезами
Осталась ты на пристани морской,
И снова шторм играет парусами
И всей моей любовью и тоской!

Я уношусь куда-то в мирозданье,
Я зарываюсь в бурю, как баклан,
За вечный стон, за вечное рыданье
Я полюбил жестокий океан.

Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть,

За то, что он наполнен голосами,
За то, что там к печали и добру
С улыбкой на лице и со слезами
Ты с кораблем прощалась на ветру...

Я ТЕБЯ ЦЕЛОВАЛ...

Я тебя целовал сквозь слезы.
Только ты не видела слез,
Потому что сырой и темной
Была осенняя ночь.

По земле проносились листья,
А по морю — за штормом шторм,
Эти листья тебе остались,
Эти штормы достались мне.

Широко, отрешенно, грозно
Бились волны со всех сторон,
Но порой затихало море,
И светилась заря во мгле.

Я подумал, что часто к морю
Ты приходишь и ждешь меня,
И от этой счастливой мысли
Будто солнце в душе зажглось!

Пусть тебе штормовые стоны
Выражают мою печаль,
А надежду мою и верность
Выражает заря во мгле...

ШТОРМ

Бушует сентябрь. Негодует народ.
И нету конца канители!
Беспомощно в бухте качается флот,
Как будто дитя в колыбели...

Бывалых матросов тоска томит,
Устали бренчать на гитаре.
— Недобрые ветры подули, Смит!
— Недобрые ветры, Гарри!

— Разгневалось море, — сказал матрос.
— Разгневалось, — друг ответил.
И долго молчали повесив нос
И слушали шквальный ветер...

Бездестье такое матросов злит.
Ну, море! Шумит и шпарит!
— А были хорошие ветры, Смит!
— Хорошие ветры, Гарри!

И снова, маршрут повторяя свой,
Под мокрой листвою бурой
По деревянной сырой мостовой
Матросы гуляли хмуро...

СОЛОВЬИ

В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Я ищу, раздвигая руками ивняк,
Птичьи гнезда на кочках в траве...
Как тогда, соловьями затоплена ночь.
Как тогда, не шумят тополя.
А любовь не вернуть,

как нельзя отыскать
Отвихрившийся след корабля!

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Заливалась слезами в ту ночь;
Закатился закат — закричал паровоз,
Это он на меня закричал!

Я умчался туда,
где за горным хребтом
Многогорбый старик океан,
Разрыдавшись, багровые волны-горбы
Разбивает о лбы валунов.

Да, я знаю, у многих проходит любовь,
Все проходит, проходит и жизнь,
Но не думал тогда и подумать не мог,
Что и наша любовь позади.

А когда, отслужив, воротился домой,
Безнадежно себя ощутил
Человеком, которого смыло за борт:
Знаешь, Тайка встречалась с другим!

Закатился закат. Задремало село.
Ты пришла и сказала: «Прости».
Но простить я не мог,

потому что всегда
Слишком сильно я верил тебе!

Ты сказала еще:

— Посмотри на меня!

Посмотри — мол, и мне нелегко. —

Я ответил, что лучше

на звезды смотреть,

Надоело смотреть на тебя!

Соловьи, соловьи

заливались, а ты

Все твердила, что любишь меня.

И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.

Так у многих проходит любовь...

В трудный час, когда ветер полощет зарю

В темных струях нагретых озер,

Птичьи гнезда ищу, раздвигая ивняк.

Сам не знаю, зачем их ищу.

Это правда иль нет, соловьи, соловьи,

Это правда иль нет, тополя,

Что любовь не вернуть,

как нельзя отыскать

Отвяхрившийся след корабля?

ЛЕТЕЛ ПРИКАЗ

(Воспоминание)

Однажды к пирсу
Траулер причалил,
Вечерний порт
Приветствуя гудком!
У всех в карманах
Деньги забренчали,
И всех на берег
Выпустил старпом...
Иду и вижу —
Мать моя родная!
Для моряков,
Вернувшихся с морей,
Избушка
Под названием «пивная»
Стоит без стекол в окнах,
Без дверей.

Где трезвый тост
За промысел успешный?
Где трезвый дух
Общественной пивной?
Я первый раз
Вошел сюда, безгрешный,
И покачал кудрявой
Головой.

И вдруг матросы
В сумраке кутежном,
Как тигры в клетке,
Чувствуя момент,
Зашевелились
Глухо и тревожно...

— Тебе чего не нравится?
Студент!

Я сел за стол —
И грянули стаканы!
И в поздний час
Над матушкой Двиной
На четвереньках,
Словно тараканы,
Мы расползлись
Тихонько из пивной...

Очнулся я,
Как после преступления,
С такой тревогой,
Будто бы вчера
Кидал в кого-то
Кружки и поленья
И мне в тюрьму
Готовиться пора.

А день вставал!
И музыка зарядки
Уже неслась из каждого окна!
И, утверждая
Трезвые порядки,
Упрямо волны
Двигала Двина,

Родная рында
Звала на работу!
И, освежая
Головы опять,
Летел приказ
По траловому флоту:
— Необходимо
Пьянство пресекать!



Старпомы ждут
 своих матросов.
Морской жаргон с борта на борт
Летит, пугая альбатросов,
И оглашен гудками порт.

Иду! А как же? Дисциплина!
Оставив женщин и ночлег,
Иду походкой гражданина
И ртом ловлю роскошный снег.

И выколачиваю звуки
Из веток, тронутых ледком,
Дышу на зябнущие руки,
Дышу свободно и легко.

Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

Вот бледнолицая девица
Без выраженья на лице,
Как замерзающая птица,
Сидит зачем-то на крыльце,

— Матрос! — кричит. —
 Чего не спится?
Куда торопишься? Постой!
— Пардон! — кричу. —
 Иду трудиться!
Болтать мне некогда с тобой!

ХОРОШИЙ УЛОВ

У тралмейстера крепкая глотка —
Он шумит, вдохновляя аврал!
Вот опять загремела лебедка,
Выбирая загруженный трал.

Сколько всякой на палубе рыбы!
Трепет камбал — глубинниц морей,
И зубаток пятнистые глыбы
В красной груди больших окуней!

Здесь рождаются добрые вести,
Что обрадуют мурманский стан.
А на мостике в мокрой зюйдвестке
С чашкой кофе стоит капитан.

Капитан, как вожатая птица,
В нашей стае серьезен один:
Где-то рядом в тумане таится
Знаменитый скалистый Кильдин...

ВЕСНА НА МОРЕ

Вьюги в скалах отзвучали.
Воздух светом затопив,
Солнце брызнуло лучами
На ликующий залив!

День пройдет — устанут руки.
Но, усталость заслонив,
Из души живые звуки
В стройный просятся мотив.

Свет луны ночами тонок,
Берег светел по ночам,
Море тихо, как котенок,
Все скребется о причал...

ПОРТОВАЯ НОЧЬ

На снегу, как тюлени,
 Лежат валуны,
Чайки плещутся в пене
 Набежавшей волны.
Порт в ночи затихает,
 Все закончили труд,
Огоньками мигает
 Их домашний уют...
Вдруг вода загрохочет
 У бортов кораблей,
Забурлит, заклокочет,
 Как в кипящем котле.
И под шум стоголосый,
 Пробуждаясь, опять
Будут жены матросов
 Свет в домах зажигать.
Будет снова тревожен
 Их полночный уют,
И взволнованно тоже
 Дети к окнам прильнут.
Знать, поэтому шквалам,
 Нагоняющим жуть,
К заметленным скалам
 Корабли не свернуть.

РАЗБОЙНИК ЛЯЛЯ

(Лесная сказка)

1

Мне о том рассказывали сосны
По лесам, в окрестностях Ветлуги,
Где гулял когда-то Ляля грозный,
Сея страх по всей лесной округе.

Был проворен Ляля долговязый.
Пыль столбом взметая над слободкой,
Сам, бывало, злой и одноглазый,
Гнал коня, поигрывая плеткой.

Первым другом был ему Бархотка,
Только волей неба не покойник, —
В смутной жизни ценная находка
Был для Ляли друг его, разбойник.

Сколько раз с добычею на лодке
Выплывали вместе из тумана!
Верным людям голосом Бархотки
Объявлялась воля атамана.

Ляля жил, — не пикнет даже муха! —
Как циклоп, в своих лесистых скалах.
По ночам разбойница Шалуха
Атамана хмурого ласкала...

2

Раз во время быстрого набега
На господ, которых ненавидел,
Под лазурным пологом ночлега
Он княжну прекрасную увидел.

Разметавши волосы и руки,
Как дитя, спала она в постели,
И разбоя сдержанные звуки
До ее души не долетели...

С той поры пошли о Ляле слухи,
Что умом свихнулся он немного.
Злится Ляля, жалуясь Шалухе:
— У меня на сердце одиноко.

Недоволен он своей Шалухой,
О княжне тоскует благородной,
И бокал, наполненный сивухой,
Держит он рукой своей холодной.

Вызывает он к себе Бархотку
И наказ дает ему устало:
— Снаряжай друзей своих и лодку
И немедля знатную молодку
Мне доставь во что бы то ни стало!

А за то моя тебе награда,
Как награда высшая для вора,
Все, как есть, мое богатство клада...
Что ты скажешь против договора?

Не сказал в ответ ему ни слова
Верный друг. Не выпил из бокала.
Но тотчас у берега глухого
Тень с веслом мелькнула и пропала...

3

Дни прошли... Под светлую луною
Век бы Ляля в местности безвестной
Целовался с юною княжною,
Со своей негаданной невестой!

А она, бледнея от печали
И от страха в сердце беспокойном,
Говорит возлюбленному Ляле:
— Не хочу я жить в лесу разбойном!

Страшно мне среди лесного мрака,
Каждый шорох душу мне тревожит,
Слышишь, Ляля?.. — Чтобы не заплакать,
Улыбнуться хочет и не может.

Говорит ей Ляля торопливо,
Горячо целуя светлый локон:
— Боже мой! Не плачь так сиротливо!
Нам с тобой не будет одиноко.

Вот когда счастливый час настанет,
Мы уйдем из этого становья,
Чтобы честно жить, как христиане,
Наслаждаясь миром и любовью.

Дом построим с окнами на море,
Где легко посвистывают бризы,
И, склонясь в дремотном разговоре,
Осеяют море кипарисы.

Будет сад с тропинкою в лиманы,
С ключевою влагою канала,
Чтоб все время там цвели тюльпаны,
Чтоб все время музыка играла...

4

— Атаман! Своя у вас забота, —
Говорит Бархотка, встав к порогу, —
Но давно пришла пора расчета.
Где же клад? Указывай дорогу!

— Ты прости, Бархотка мой любезный,
Мне казна всего теперь дороже!
— Атаман! Твой довод бесполезный
Ничего решить уже не может!

— Ты горяч, Бархотка, и удачлив,
Что желаешь, все себе добудешь!
— Атаман! Удачлив я, горяч ли,
Долго ты меня морочить будешь?

Атаман, мрачней понемногу,
Тихо сел к потухшему камину.
— Так и быть! Скажу тебе дорогу,
Но оставь... хотя бы половину.

— Атаман! Когда во мраке ночи
Крался я с княжной через долину,
Разве я за стан ее и очи
Рисковал тогда наполовину?

— А не жаль тебе четвертой доли? —
Ляля встал взволнованно и грозно.
— Атаман! Тебя ли я неволил?
Не торгуйся! Поздно, Ляля, поздно...

Ляля залпом выпил из бокала
И в сердцах швырнул его к порогу.
— Там, где воют ветры и шакалы,
Там, в тайге, найдешь себе дорогу!

5

Поздний час. С ветвей, покрытых мглою,
Ветер злой срывает листьев горсти.
На коне испуганном стрелою
Мчится Ляля в сильном беспокойстве.

Мчится он полночными лесами,
Сам не знает, что с ним происходит,
Прискакал. Безумными глазами
Что-то ищет он... и не находит.

— Где княжна? — вскричал разбойник
Ляля

Сквозь тугой порыв лесного гуда.
И сказал Бархотка, зубоскаля:
— Вечным сном княжна твоя уснула...

Атаман, ушам своим не веря,
Вдруг метнулся, прочь отбросил плетку
И, прищурясь, начал, как на зверя,
Наступать на хмурого Бархотку.

— Жаль! Но ада огненная чаша
По тебе, несчастная, рыдает!
— Атаман! Возлюбленная ваша
Вас в раю небесном ожидает!

Тут сверкнули ножики кривые,
Тут как раз и легкая заминка
Происходит в повести впервые:
Я всего не помню поединка.

Но слетелась вдруг воронья стая,
Чуя кровь в лесах благоуханных,
И сгустились тени, покрывая
На земле два тела бездыханных...

6

Бор шумит порывисто и глухо
Над землей угрюмой и греховой.
Кротко ходит по миру Шалуха,
Вдаль гонима волею верховной.

Как наступят зимние потемки,
Как застонут сосны-вековухи,
В бедных избах странной незнакомке
Жадно внемлют дети и старухи.

А она, увядшая в печали,
Боязливой сказкою прощальной
Повествует им о жизни Ляли,
О любви разбойника печальной.

Так, скорбя, и ходит богомолка,
К людям всем испытывая жалость,
Да уж чует сердце, что недолго
Ей брести с молитвами осталось.

Собрала котомку через силу,
Поклонилась низко добрым лицам
И пришла на Лялину могилу,
Чтоб навеки с ним соединиться...

7

Вот о чем рассказывают сосны
По лесам, в окрестностях Ветлуги,
Где гулял когда-то Ляля грозный,
Сея страх по всей лесной округе,

Где навек почил он за оградой,
Под крестом, сколоченным устало...
Но грустить особенно не надо,
На земле не то еще бывало,

О СОБАКАХ

Не могу я
Видеть без грусти
Ежедневных
Собачьих драк, —
В этом маленьком
Захолустье
Поразительно много
Собак!
Есть мордастые —
Всякой масти!
Есть поджарые —
Всех тонов!
Только тронь —
Разорвут на части
Иль оставят вмиг
Без штанов.
Говорю о том
Не для смеху,
Я однажды
Подумал так:
Да! Собака
Друг человеку
Одному,
А другому — враг...

НА ГУЛЯНИЕ

На меду, на браге да на фінках
Расходились молнии и гром!
И уже красавицы в косынках
Неподвижно, словно на картинках,
Усидеть не в силах за столом.
Взяли ковш, большой и примитивный:
— Выпей с нами, смелая душа! —
Атаман, сердитый и активный,
Полетит под стол, как реактивный,
Сразу после этого ковша.
Будет он в постельной упаковке,
Как младенец, жалобно зевать,
От подушки, судя по сноровке,
Кулаки свои, как двухпудовки,
До утра не сможет оторвать...
И тогда в притихшем сельсовете,
Где баян бахвалится и врет,
Первый раз за множество столетий
Все пойдут старательно, как дети,
Танцевать невиданный фокстрот.
Что-то девки стали заноситься!
Что-то кудри стали завивать!
Но когда погода прояснится,
Все увидят: поле колосится!
И начнут частушки запевать...

НИЧЕГО НЕ СТАНУ ДЕЛАТЬ

Год пройдет...

другой...

а там уж —

Что тут много говорить? —

Ты, конечно, выйдешь замуж,

Будешь мужу суп варить.

Будет муж тобой гордиться,

И катать тебя в такси,

И вокруг тебя кружиться,

Как Земля вокруг оси.

Что ж? Мешать я вам не стану,

Буду трезв и буду брит,

Буду в дом носить сметану,

Чтобы дед лечил гастрит.

Ничего не стану делать,

Чтоб нарушить ваш покой.

На свиданье ночью белой,

Может быть, пойду с другой...

Так чего ж, забившись в угол,

Сузив желтые зрачки,

На меня твоя подруга

Мрачно смотрит сквозь очки?..



Осень! Летит по дорогам
Осени стужа и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.
Скользкой неровной тропою
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идет с водопою,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из множества сит,
Дождик знобящий и серый
Все моросит, моросит...
Жнивы, деревья и стены
В мокрых сетях полутьмы
Словно бы ждут перемены —
Чистой, веселой зимы!



В твоих глазах
Для пристального взгляда
Какой-то есть
Рассеянный ответ...
Небрежно так
Для летнего наряда
Ты выбираешь нынче
Желтый цвет.
Я слышу голос
Как бы утомленный,
Я мало верю
Яркому кольцу...
Не знаю, как там
Белый и зеленый,
Но желтый цвет
Как раз тебе к лицу!
До слез тебе
Нужны родные стены,
Но как прийти
К желанному концу?
И впрямь, быть может,
Это цвет измены,
А желтый цвет
Как раз тебе к лицу...

НАД РЕКОЙ

Жалобно в лесу кричит кукушка
О любви, о скорби неизбежной...
Обнялась с подружкой подружка
И, вздыхая, жалуется нежно:

— Погрусти, поплачь со мной, сестрица.
Милый мой жалел меня не много.
Изменяет мне и не стыдится.
У меня на сердце одиноко...

— Может быть, еще не изменяет, —
Тихо ей откликнулась подружка, —
Это мой стыда совсем не знает,
Для него любовь моя — игрушка...

Прислонившись к трепетной осинке,
Две подружки нежно целовались,
Обнимались, словно сиротинки,
И слезами горько обливались.

И не знали юные подружки,
Что для грусти этой, для кручины,
Кроме вечной жалобы кукушки,
Может быть, и не было причины.

Может быть, ребята собирались,
Да с родней остались на пирушке,
Может быть, ребята сомневались,
Что тоскуют гордые подружки.

И когда задремлет деревушка
И зажгутся звезды над потоком,
Не кричи так жалобно, кукушка!
Никому не будет одиноко...

ВОСПОМИНАНИЕ

Брату

Помню, луна смотрела в окно.
Роса блестела на ветке.
Помню, мы брали в ларьке вино
И после пили в беседке.

Ты говорил, что покинешь дом,
Что жизнь у тебя в тумане,
Словно о прошлом, играл потом
«Вальс цветов» на баяне.

Помню я дождь и грязь на дворе,
Вечер темный, беззвездный,
Собака лаяла в конуре,
И глухо шумели сосны...

ВЕНЕРА

Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бедным прудом
Драгоценная блещет Венера...

Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с ее красотой.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой.

Но Венеры играющий свет
Засиял при своем приближенье,
Так, что бросился в воду поэт
И утплыл за ее отраженьем...

Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы,
Но Венера над бедным прудом
Доведет и меня до могилы!

Да еще в этой зябкой глуши
Вдруг любовь моя — прежняя вера —
Спать не даст, как вторая Венера
В небесах возбужденной души.

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОЧИ

Ветер под окошками,
тихий, как мечтание,
А за огородами
в сумерках полей
Крики перепелок,
ранних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней.
К табуны
с уздечкою
выбегу из мрака я,
Самого горячего
выберу коня,
И по травам скошенным,
удилами звякая,
Конь в село соседнее
понесет меня.
Пусть ромашки встречные
от копыт сторонятся,
Вздрогнувшие ивы
брызгают росой, —
Для меня, как музыкой,
снова мир наполнится
Радостью свидания
с девушкой простой!
Все люблю без памяти
в деревенском стане я,
Будоражат сердце мне
в сумерках полей
Крики перепелок,
дальних звезд мерцание,
Ржание стреноженных
молодых коней...

ПЕРВОЕ СЛОВО

Холод, сосны, звезды в ноябре.
Поцелуи наши на дворе.
Как в тумане яркие огни,
В памяти сияют эти дни...

Вдруг, порывы юности поправ,
Стал моим диктатором устав, —
Отшумел волос девятый вал,
Штиль на голове,
В глазах — аврал.

Все же слово молодости
 «долг»,
То, что нас на флот ведет
 и в полк,
Вечно будет, что там ни пиши,
Первым словом мысли и души!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сквозь буйство бурь
 пройдя без тени страха,
О, сколько раз
 я милым называл
Суровый берег, выплывший из мрака
Уступами
 дремотных,
 хмурых скал!
Здесь
 жизни дух
 вдыхая даже в камни,
Бурлит с утра рабочая страда.
А день пройдет —
 сияет огоньками
Уют людей, уставших от труда.
Где движет шторм
 разбойных волн отряды,
Любовь к земле
 горит у нас в крови.
Жизнь моряка — как пушка без заряда
Без этой
 вдохновляющей любви.
Вернувшись с моря,
 чувство горькой грусти
Мы испытали б все
 до остроты,
Когда б в нелегком
 воинском искусстве
Не взяли
 с боем
 новой высоты!

ГРУСТЬ

Любимый край мой, нежный и веселый.
Мне не забыть у дальних берегов
Среди полей задумчивые села,
Костры в лугах и песни пастухов.
Мне не забыть друзей и нашу школу
И как в тиши июльских вечеров
Мы заводили в парке радиолу
И после танцевали «Вальс цветов».
А дни идут...

На палубе эсминца
Стою сейчас. Темнеет небосклон.
Чернеют скалы. Волны вереницей
Стремительно бегут со всех сторон.
Смотрю во тьму. И знаю я, что вскоре
Опять маяк просемафорит нам.
И мы уйдем в бушующее море
По перекатным взвихренным волнам...
Любимый край мой, нежный и веселый,
Февральских нив серебряный покров
И двор пустынный, снегом занесенный...
Как я грущу у дальних берегов!
И передаст стихов живая краткость,
Что с этой грустью радостно дружить,
Что эта грусть, похожая на радость,
Мне помогает Родине служить!

ВАЛЕНТИН
САФОНОВ

НИКОЛАЙ
РУБЦОВ

повесть памяти



Часть первая НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

КОРАБЛЬ

I

Эти заметки о нашей юности, о службе на флотах российских я определяю как повесть памяти. Память, однако, даже не подверженная склерозу, — инструмент, далекий от совершенства. Так вот, воскресить прошлое мне помогают дневники, которые вел я много лет подряд, начиная со второго класса. Дядька мой Петр Васильевич Скуратов, послевоенный редактор районной газеты в моем родном селе, буквально из-под палки приобщил меня к этому каторжному для несмышлениша труду: «За-

писывай, когда-нибудь пригодится!» Неволя со временем обернулась потребностью, привычкой.

Долгое время не мог набраться смелости перечитать их, удерживало какое-то нежелание возвращаться в прошлое, какое-то смутное чувство стеснения перед самим собой, боязнь, которой и сегодня объяснить не могу.

Но вот решился тем не менее, перечитал. И удивился не только скрупулезной подробностью, с которой запечатлена в дневниках былая наша жизнь, но и тому, какими мы были. То есть — отстраненно, с дистанции — разглядел я вдруг тех двадцатилетних мальчишек, проник в их мысли и потаенные мечтания, услышал их споры и разговоры, узнал их ошибки и заблуждения, увидел, что они читали, что сами писали, куда рвались душой. И самое главное для меня в этой повести памяти — нарисовать атмосферу тех лет.

Все пишущие о Рубцове непременно говорят о раннем его сиротстве, детском доме, службе на эсминце. Но это, так сказать, голые факты, внешние детали бытия. Мне же кажется совершенно необходимым раскрыть внутренний мир тогдашнего нашего существования, правдивный облик времени. Из ничего ничего не бывает. Поколение военных поэтов и прозаиков входило в литературу в гимнастерках, с опытом Великой Отечественной войны за плечами. Следом за ними выплеснулись на эстрадные подмостки сверстники Евтушенко и Вознесенского. Мы были их моложе на каких-нибудь пять-шесть лет, но мы были другими. Не писали автобиографий, биографий искусственно не лепили, жили естественной жизнью. И духовно нам был ближе негромкий опыт именно писа-

телей военного поколения, нежели шумное лицедейство наших старших сверстников. Наверно, потому как раз помнили мы и жестокую боль войны, что сами по многу лет носили бушлаты и бескозырки.

Сегодня я с благодарностью вспоминаю тот давний день первого послевоенного года, когда Петр Васильевич подарил мне толстую тетрадь в твердом переплете, сказав при этом: «Первую запись сделаешь немедленно, в моем присутствии». И корю себя за то, что с годами утратил привычку к ведению дневника.

2

Все, даже и не видевшие моря, представляют, что такое корабль.

Не всем, однако, ведомо, что такое служба на боевом корабле. И многолетняя, изо дня в день, жизнь в четко ограниченных пространствах металлических отсеков. Но призвали — служи! Целых четыре года! И, положив руку на сердце, скажу: эти четыре года были для нас превосходной школой жизни. А о корабле в стихотворении «Корабль», которое очень нравилось Рубцову, замечательно сказал наш флотский поэт Валерий Белозеров. Приведу здесь две строфы — первую и последнюю:

Железные палубы, трапы, надстройки,
Железные поручни, люки, обрезы...
Железные кубрики, пиллерсы, койки —
Железо, железо, сплошное железо...
Открытые лица, широкие груди,
Железные палубы, трапы, обрезы,
Железные нервы, железные люди —
Железо, железо, сплошное железо.

Помню, когда Валерий, в то время судовой врач, впервые прочитал эти стихи на занятии литобъединения, мы долго и потрясенно молчали. А затем поднялся Николай и торжественно изрек:

— Классика! Как тихоновская «Баллада о гвоздях».

И мы согласились с ним, ибо каждый подумал, что, наверное, так же мог бы сказать о себе, о своей службе на корабле, но вот не сумел, а старший лейтенант Белозеров сумел...

Теперь, по прошествии лет, понимаю, что Колиная оценка стихотворения была несколько завышенной. Но ведь теперь-то я щеголяю в цивильном пиджаке — не в бушлате.

В те годы флотской нашей юности Рубцов был очень общительным человеком. С отчаянной смелостью врубался в любой разговор о литературе, тем паче о поэзии. Если сам читал стихи или вслух размышлял о чьих-то — тут Колю слушать не переслушать. И замыкался он лишь в том случае, когда невзначай или с назойливым интересом касались начал его жизни: где родился? возле кого рос? Коснуться этих самых начал — все равно что открытую рану зацепить: Рубцов или молча злился, или отвечал грубостью.

Конечно, все это — и злое, не подступись, молчание, и нарочитая грубость — лежало на поверхности, было формой самозащиты. А в душе его постоянно жила огромная, невыразимой силы, пегаснувшая тоска по родительской ласке, которой он, осиротев в младенчестве, не запомнил; тоска по отчему крову над головой, которого никогда не было в его жизни.

Как-то он меня спросил:

— У тебя родители живы?

— Живы.

— Отец воевал?

Я молча кивнул, испытывая странное стеснение и не решаясь рассказать, что не только отец — вся наша семья, включая меня и брата Эрика, прошла через войну начиная с самого первого ее дня. Что пережили мы и угрозу расстрела, из-под которой увел нас назначенный немцами и раскаявшийся староста, и колючую проволоку концлагеря, и лесные партизанские землянки.

— Ты счастливый: отец и мать есть — не пропадешь! — позавидовал Николай. — А я вот всю жизнь один. И всю жизнь боюсь затеряться. В детдоме боялся. И потом, когда бродяжил, менял адреса и работу. И в учебке тоже, когда выдернули из привычной одежды.

Справедливости ради замечу, что мы с ним дружили на равных, не обижая друг друга, и, наверно, я знал его больше, чем другие наши ребята в литературном объединении, и был он со мной открытее и откровеннее. Потому и не поразило и не смутило меня его стихотворение, напечатанное однажды во флотской газете «На страже Заполярья». Начиналось оно строками: «Над вокзалом — ранних звезд мерцанье. В сердце — чувств невысказанных рой...» И дальше речь шла о том, как моряк-отпускник приезжает на побывку, обнимает на пороге дома родную мать.

Все — от первого лица.

Стихи-призрак, стихи-мечта!

Кстати, в этих стихах Коля буквально повторяет слова из более ранних «Деревенских ночей»: «...крики перепелок, ранних звезд мерцание». Теперь «Ночи» поют как романс.

3

Мы жили литературой, жили поэзией — остро, взволнованно, в захлеб. И я еще скажу об этом особо, а здесь напомним лишь, что год нашего призыва на службу — 1955-й. Что незадолго перед тем умер Сталин. Что именно на время нашей флотской службы пришелся XX съезд партии, сурово осудивший культ личности. Решения съезда ошеломили и потрясли нас. Отчетливо помню собственные ощущения тех лет: если в книге, взятой из корабельной библиотеки, спотыкался на имени Сталин — откладывал ее, не дочитав. Потому, наверное, искал преимущественно классику.

Было много споров, много разговоров; и неясного, смутного хватало. Вот почему дорожили мы каждой возможностью вырваться на занятия литературного объединения. Вырывались не только ради занятий, подчас довольно бледных... Главное начиналось после — когда, разбившись на группки, бродили мы по улицам Североморска или уходили в сонки, подальше от начальства и несговорчивых патрулей. Тут уж доставало и споров, и суждений!

«Железные люди с железными нервами» тоже подчас давали слабину. Помню, флотская газета напечатала подборку стихов Вити К. С портретом автора — молодцеватого старшины второй статьи, с теплым напутствием. Такие подборки были традицией, почти все члены лит-

объединения прошли через эту купель, через этот обряд крещения. Витя, человек неуступчивый и сверх меры самолюбивый, на радостях «заложил за воротник» и, уличенный в неповинительном проступке, надерзил начальству. Его, естественно, наказали, «зарубив берег», то есть надолго лишив увольнений. А когда праведной службой добился он прощения — пришел к нам с надрывной жалобой:

— Обрыдло все!

— Что все?

— Да все на свете! И чертовы эти сопки, похожие на сухари, и окаянное море.

— Море-то при чем? — спросил я, изрядно обиженный на бравого старшину: моими стараниями его подборка увидела свет, мне же первому и нагорело за его грехи.

— А при том! — взъярился Виктор. — Куда ни глянешь — каждая вещь с казенным клеймом. Подушка, на которой сплю, одеяло, которым укрываюсь, простыня. На полотенце клеймо, на робе, на бескозырке! И сами клейменные, словно каторжные.

Зло сплюнув, он отвернулся и пошел вниз по улице Сафонова, самой в те времена красивой — парадной — улице. А мы стояли на широких ступенях Дома офицеров, в одном из зальчиков которого только что отзанимались литобъединенцы; и растерянно смотрели ему вслед. Хоть бы руку, что ли, подал на прощание!

— Виктор! — позвал я негромко.

— Не падо, — тронул меня за рукав Рубцов. — Не стоит.

— Нелепо все, глуно, — возразил я. — Надо догнать.

— Не стоит, — повторил Коля. И, нахмурив лоб, после паузы, выговорил с сожалением: — Не будет из него поэта. Только себя и видит, и никого вокруг больше.

Рубцов оказался прав в своем пророчестве. Вот уже и десятилетия минули с того момента, как простились мы с флотом, а Виктора в литературе — с поэзией ли, с прозой — так и не встретил я ни разу.

Вспоминая не единожды эту картинку, снова и снова прокручивая ее в воображении, я думал: вот Рубцов-то как раз всю жизнь спал на клейменных подушках и укрывался одеялом с казенным клеймом. В детдоме, на флоте, в заводском общежитии и позже — в общежитии Литературного института. Вот он-то как раз больше, чем кто-либо другой, имел право сказать, что все ему обрыдло.

Ан нет, и намеком не обмолвился!

Еще штрих — и к портрету поколения, и к портрету Рубцова.

Зашел разговор о событиях в Египте: по времени пришлись они на осень пятьдесят шестого года. Арабам империалисты не могли простить национализации Суэцкого канала: против Египта с ходу развязал войну Израиль, на стороне Тель-Авива немедленно выступили англичане и французы.

По флоту была объявлена повышенная готовность: тревоги игрались поминутно, спали мы не раздеваясь, да и громко это сказано — спали. Счастлив уже, коли вырубись на полчаса — до очередной сирены.

Мир, казалось, висел на волоске. Вот-вот полыхнет она, третья мировая...

Все, к счастью, обошлось. Прежде всего по-

тому, втолковывали нам, что твердую и непрклонную позицию занял Советский Союз.

Так вот, вспоминая те дни, Рубцов обмолвился, что писал заявление с просьбой отправить его в Египет в составе интернациональной бригады. На помощь страдающему народу.

Мы бредили интербригадами, нам не терпелось взять оружие в руки. Из уст в уста передавали, что на одной «тридцатке-бис» (модель эсминца) подобные заявления написали сто тридцать матросов и четыре офицера.

— Ну и что у тебя вышло? — спросил я с сочувствием.

— Толку не вышло, — ответил он. — Вызвал «святой отец» и прочитал «проповедь». Тем и кончилось!

«Святой отец», так мы называли заместителя командира корабля по политчасти, вызвал и меня. По такому же точно поводу. И сказал, что кандидату в партию, молодому коммунисту, надлежит удерживать матросов от искренних, но неумеренных порывов, а не подогревать всякие там настроения.

— Все понял? — поинтересовался зам под занавес.

На флоте не принято отвечать «нет».

— Так точно, понял! — гаркнул я и вышел за дверь, не столько потрясенный, сколько раздавленный тем, что наш интернационализм подрублен под корень.

ЕСЕНИН

1

К Есенину у Рубцова отношение особое: «...Невозможно забыть мне ничего, что касает-

ся Есенина», — однажды напишет он мне. Но это будет позже, в пятьдесят девятом, когда мы всерьез начнем искать следы пребывания Сергея Александровича в Мурманске.

Что я знал тогда о Есенине? Что мы все знали о нем?

Теперь вот думаю, что имя Есенин в памяти народа хранилось всегда. Как и великое имя Пушкин. Роились вокруг этого имени легенды, домыслы, преувеличения, но в каждой побасенке, в каждом расхожем анекдоте явственно слышалась всечеловеческая симпатия к большому и незаслуженно обиженному после смерти поэту. Обиженному тридцатилетним официальным забвением.

Помню, районный судья Петр Егорович Сухов за кружкой пива, в предбаннике, рассказывал мужикам, как после гражданской войны служил он в Константинове участковым милиционером. И как Есенин, приехав к матери, в загуле перебил стекла в теткинском доме. Сухов, по долгу службы и не без помощи местных мужиков, связал буяна. «Развяжи!» — потребовал поэт, отоспавшись. И, освобожденный от уз, надавал блюстителю порядка звонких пощечин. Меня, мальчишку, поразило, что об этих пощечинах судья вспоминал, как о почетной награде.

Знание о поэте, пусть и искаженное, неверное, приходило к нам раньше его стихов.

Правда, мне повезло. Логик в средней школе преподавал нам Владимир Васильевич Аббакумов. Фронтовик, потерявший на войне ноги, юрист по образованию, он страстно любил поэзию. Прознав, что я пишу стихи, пригласил меня домой. И мне, единственному слушателю,

часа три кряду читал Есенина наизусть. А потом под честное слово одолжил «до завтра» прижизненный томик поэта. Я спрятал книжицу в карман куртки и вылетел на улицу, забыв попрощаться: боялся, что учитель передумает, отберет Есенина назад. Весь вечер и ночь напролет при скудном свете лампы-семилинейки я переписывал стихи в тетрадь. Весь том, до заключительной точки... А после, к великому удовольствию однокашников и неудовольствию школьного начальства, читал Есенина на вечерах. Уходя на службу, взял тетрадь с собой.

Знал я, понаслышке конечно, и о том, что жива еще Татьяна Федоровна — мать поэта, сестры Шура и Катя.

— Эх, поговорить бы с ними! — загорелся Николай. — Вот расскажут...

2

Обращаюсь к дневниковым записям. По их содержанию можно судить о том, как открывали мы для себя Есенина.

Учебный отряд. 7 февраля 1956 г.

В овладении специальностью, ежели верить полученным оценкам, дело идет отлично, фактически же этот критерий вряд ли заслужен мною. Учю и учусь, правда, в меру, но без желания особенного! Любовь к механике во мне так и не проявилась. Была бы это литература!..

Кстати о литературе. С интересом ожидаю бандероли от Эрика, в которой твердо надеюсь обнаружить альманах «Литературная Рязань» с новым (и пока единственным) романом А. Чувакина «Урожай» и с оценкой Назыма Хикмета по творчеству Есенина...»

Примета времени, середины пятидесятих: литературные альманахи издавались едва ли не в каждом областном городе. Меня о жизни рязанских пиитов и беллетристов аккуратно информировал брат: восемнадцатилетний Эрнст Сафонов был в то время студентом Рязанского пединститута, но занятиям в аудитории предпочитал «подевку» в областных газетах.

«20 марта 1956 г.

Альманах «Литературная Рязань» прочел залпом. «Урожай» Чувакина — серая, недоделанная вещь, скорее, объединенные в целое газетные очерки и репортажи.

Остальное тоже оставляет желать лучшего.

Заслуживает внимания публицистика Прокушева о С. Есенине. Наконец-то начинают менять мнение об этом пока еще не признанном большинством поэте.

Народ еще не знает Есенина-лирика, Есенина — тонкого певца человеческих чувств и страстного патриота своей многострадальной Родины. В гениальном поэте видят, к прискорбию, хулигана, блатнягу, автора пресловутого «Луки».

Здесь, пожалуй, необходимо сделать небольшое уточнение, дабы не бросать тени на весь народ. В том, что наипошлейшего «Луку» сочинил Сергей Есенин, меня горячо и долго убеждал капитан-лейтенант Е., корабельный артиллерист. И был очень рассержен тем, что я не принял на веру его слова.

«Североморск, борт эсминца «Смышленный».
21 декабря 1956 г., пятница.

Вчера кончил читать «Печаль полей» С.-Ценского, поэму в прозе.

Анна, жена Ознобишина, внешние и внутрен-

не чем-то удивительно напоминает Анну Снегину из поэмы Есенина. Именно такой я почему-то и представлял ее себе...

«Соскучась» по Есенину, наведаясь в гости Рубцов. Я достал из рундука тетрадь с есенинскими стихами, вырезки из газет, альманах «Литературная Рязань», еще какие-то книжки. И мы ушли в машинное отделение, подальше от посторонних глаз.

На крышке металлического ящика, набитого ветошью, и устроились мы со своим духовным богатством. Вернее, устроился Николай, а я, чтобы не мешать ему, ушел на свое заведование — к маневровому устройству. Работа на корабле, тем паче у механика, всегда есть, лишь бы руки не лепились: крути гайки, драй медяшки...

Коля прочитал все, что было у меня о Есенине, а тетрадь, не открывая, спрятал за пазуху, под суконку.

— Это я один читать буду, дома, — сказал, по справедливости разумея под домом свой кубрик.

Какими-то днями позже брат прислал мне двухтомник Есенина, выпущенный в 56-м году в Госиздате. Светло-сиреневый переплет, зеленое пятно неприхотливого пейзажа на обложке.

Вот это был праздник!»

Мне и теперь они дороже многих нарядных изданий, эти затрепанные, с оборванными уголками страниц, томики есенинских стихов и поэм. Всякий раз, когда беру их с полки, невольно думаю о том, что мои друзья-моряки узнавали Есенина по этим книжкам. Без сомнения, в те времена это было самое полное собрание поэта.

Да, вот еще, чтобы не забыть. Тогда, в машинном отделении, мы не читали друг другу своих собственных стихов. Даже, кажется, и в голову не пришло такое — читать себя. Говорили только о Есенине...

3

Взрослели мы — взрослоло наше знание о Есенине. Память народа и время сняли запрет с имени поэта. И точно плотину прорвало! В театрах столичных и периферийных городов профессиональные декламаторы выступали с программами «из Есенина». Провинциальные издательства, пусть и робко, с оглядкой, начали выпускать сборники его стихов. Критики и литературоведы чуть ли не соревнование затеяли, кто из них больше и лучше скажет о Сергее Александровиче.

Так, субботним вечером 24 января 1959 года моряки встречались с народным артистом СССР Николаем Константиновичем Симоновым. Посмотреть на исполнителя роли Петра Первого хотелось, конечно же, многим: зал в Доме офицеров был битком набит. Симонов начал вечер не с рассказа о сцене и кино, а — неожиданно для всех и потому под аплодисменты — с эпизода о том, как в 1918 году видел в Самаре Маяковского, Бурлюка и Есенина. Первые двое, повествовал очевидец, эпатирруя благородную публику, гуляли по улицам в трусах и персидских халатах, размалеванные во все цвета радуги. Есенин же был одет в пестрядинную российскую рубаху и мужицкие порты, подпоясанные веревкой.

«Мне в эту встречу не верится, выдумал ее Симонов», — в тот же день записал я в дневнике.

Рубцов Симонова не слышал. Но реакция его, когда я рассказал ему о вечере в Доме офицеров, была еще более энергичной:

— Чушь! Врет твой Симонов...

4

Я после демобилизации уже работал во флотской газете «На страже Заполярья». Как раз в это время где-то вычитал, что Есенин бывал в Мурманске. Запись в дневнике по этому поводу предельно лаконична:

«12 января 1959 года, понедельник.

...Отдельно — Есенин. Поэт был в Мурманске. Факт. И все! Белое пятно в литературе.

Стереть пятно!

Вот эта задача особенно влечет и волнует меня сейчас».

Смутно припоминаю, что о посещении Есениным Мурманска рассказывал мне и некий седовласый капитан дальнего плавания: я приезжал к нему из Североморска за материалом для флотской газеты.

Написал Рубцову на корабль, который в это время базировался близ Мурманска. И вскоре получил ответное письмо, в котором были такие строки:

«...Сперва о деле. Ты говоришь, что необходимо (или желательно) узнать подробности поездки Есенина в Мурманск. Действительно, это надо сделать, и кто-то должен добиться здесь успеха, т. е. узнать, что требуется. К сожалению, для меня это пока почти невозможно, по-

сколько, сам знаешь, я на службе, и потому лишен свободы действий.

Надо бы поехать в Мурманск и на месте попытаться найти людей, которые помогут. Перепиской вряд ли чего добьешься, но, не имея других средств, я все-таки написал одно письмо в Ростов-на-Дону знакомой преподавательнице литературы, она любит Есенина и прекрасно знает его биографию. Недавно она тоже была в Мурманске продолжительное время. Может, подскажет, с чего начать. А если в подходящее мурманское учреждение написать? Мало толку?

Что бы там ни было, помнить об этом буду постоянно. Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызвать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни.

Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи. Например, вот эти:

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять!

Так и представляется, как где-то в голубой сумрачной степи маячит одинокая разбойная фигура. Громкий свист... Тихий вскрик... И вы-

плывает над степью луна, красная, будто тоже окровавленная...

Что за чувства в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть! Вполне очевидно, что это неудержимо буйный (полнота чувства, бьющая через край, — самое ценное качество стиха, точно? Без него, без чувства, вернее, без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца), повторяю: это неудержимо буйный (в русском духе) образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Неважно, что образ хулиганский. Главное в нем — романтика и кипение, с исключительной силой выразившие настроение (беру чисто поэтическую сторону дела). Вообще, в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни», как сказал Блок. Тогда они действительны...»

Мне кажется, эти строки из письма Рубцова в комментариях не нуждаются. Коля тут весь на виду, прозрачен насквозь: и в своем отношении к Есенину («...невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо»), и к поэзии вообще (цитирует Блока: «...в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни»). Да и не только цитирует — чуть ниже выносит безжалостный приговор серости, бесталанности: «...в большинстве стихов наших флотских, как ты называешь, пиитов (да и не только наших) как раз недостает этого. Какие-то скучные, схематичные стишки. Не стоит говорить о том, что они не будут жить: они рождаются мертвыми...»

Некая наивность стиля, сбивчивость в изложении легко объяснимы: письмо писалось, что

называется, «из-под полы», во время политза-
нятий.

В 1984 году в журнале «Литературное обоз-
рение» (№ 2) были опубликованы письма
Алексея Прасолова. Вот что писал он о Есени-
не в октябре 1965 года:

«Есенин — это та песня, которая несет от-
свет вольной Руси, не мыслимой сегодня и не
могущей так раскованно повториться. Никого
не оставляет эта песня равнодушным, потому
что наше вчера еще так недалеко (та вольная
буйная стихийная сила), и как бы ни замкну-
ли нас железные условия прогресса, цивилиза-
ции — молодость наша легко ранит своей
песнью, отголосок которой — во всем Есенине.

Это — только об одном его луче. А их у не-
го много — и все живые».

Я прочитал это письмо и замер, пораженный
сходством оценок, тем, как одинаково верно и
одинаково глубоко понимали Есенина и суди-
ли о нем Николай Рубцов и Алексей Прасо-
лов. И даже в схожести житейских их судеб,
в раннем трагическом исходе есть что-то оди-
наково роковое, неотвратимое.

5

Я не занимаюсь литературоведением, пи-
шу — по памяти, дневникам и сохранившимся
письмам — лишь о том, что было. Не хочу быть
пристрастным и утверждать, что Есенин ока-
зал решающее влияние на стихотворчество Руб-
цова. Это не так, конечно. Но вот возникло од-
нажды высказанное неким критиком и став-
шее едва ли не расхожим мнение, что Рубцов
целиком вышел из сюртука Тютчева и Фета,

что он — прямой продолжатель их поэтической линии в нашей советской литературе. Не знаю, не знаю... Глупо было бы мастерить литературные весы и укладывать на одну их чашу эталоны с табличкой «Воздействие Есенина на Рубцова», на другую — «Воздействие Тютчева и Фета...». Какая из чаш, де-мол, перетянет?.. Николай Михайлович тем и хорош, что, к счастью, самостоятелен, оригинален был в поэзии. Достоверно же и непреложно одно: Тютчев и Фет пришли к нему гораздо позже Есенина, пришли уже к сложившемуся, умелому мастеру. Кстати говоря, круг литературных привязанностей Рубцова не ограничивался тремя названными именами. Он и Блока не чужд был — отнюдь! И виртуозное мастерство Хлебникова импонировало ему. А Пушкин! А Гоголь!.. Он многое знал и помнил, потому что много читал и прочитанное основательно «переваривал» в себе.

А первооткрывателей из нас не получилось. Сколько ни ходили мы по «следам» Есенина в Мурманске — нас, увы, постигла неудача. Ни очевидцев его пребывания в этом городе не сыскали, ни документов не нашли. Может, не слишком настойчивы были в своих поисках?

Да нет, настойчивости, задора и желания хватало, но, видно, не с того конца за поиски взялись. А вот недавно я узнал, что мурманский поэт Владимир Сорокажердьев оказался удачливее нас. Ему — об этом он сам сообщает в письме — удалось установить, что Сергей Александрович Есенин предпринимал в свое время поездку в Мурманск, но до конечной цели маршрута не добрался. Так тогда, в двадцатые годы, сложились обстоятельства...

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ

1

Спасибо родному Северному! Флот и денно и ночью (слово к месту, ибо долгую полярную ночь со счетов не сбросишь) пекся о своих начинающих поэтах и прозаиках. 28 июля 1957 года организационно оформилось литературное объединение при газете «На страже Заполярья». Теперь мы уже встречались не от случая к случаю, а в дни занятий, заведомо зная, чья проба пера станет предметом разговора. Политуправление рекомендовало командирам частей не чинить нам препятствий с увольнениями (если, конечно, мы не имели замечаний по службе). Нам даже билеты выдали, вернее, удостоверения. Плотные корочки в синем — традиционного морского цвета — переплете, с девизом «За нашу Советскую Родину!», с названием материнской организации: «Редакция газеты «На страже Заполярья». По внутреннему полю слева значилось, что «тов. имярек является членом литературного объединения при газете Северного флота «На страже Заполярья», а справа содержалась просьба к командованию части «оказывать тов. имярек всяческую помощь и содействие в организации и подготовке материалов для флотской газеты, а также предоставлять ему возможность регулярного посещения занятий литературного объединения». К удостоверению этому, скрепленному печатью и подписью редактора газеты, даже бестрепетные патрули относились с долей почтения.

На сохранившемся у меня удостоверении значится номер 29. В списках объединения я

шел следом за Николаем, так что номер его документа, скорее всего, двадцать восьмой.

На одном из занятий был принят устав объединения. Самой серьезной карой — за нарушения дисциплины, аморальные проступки, плагиат — было исключение без права возврата. При желании можно было бы вспомнить две-три шумные истории — и с так называемой «аморалкой», и с плагиатом. Думаю теперь не без грусти, что, по молодости лет, были мы бескомпромиссны, а порой и безжалостны.

Литобъединение не только сдружило нас — и показало, чего мы стоим. Есть в моем дневнике такая запись: «Сегодня замначПО некто Буржимский передал мне мнение капитана Матвеева (что-то вроде заведующего несуществующим литотделом в редакции «На страже Заполярья») о моих последних стихах: «Стихи написаны на уровне поэтов-профессионалов, и мы сомневаемся, что такие стихи может написать *простой матрос* (!). Потому и не решаемся их печатать — из-за боязни плагиата». Ну что ты будешь делать? А я полагал, что нужно стараться писать лучше. Ан скверно выходит дело! Чем лучше пишешь, тем меньше шансов печататься в газете...»

Минет какое-то время, и, став сотрудником все той же газеты «На страже Заполярья», я отплачу Матвееву звонкой монетой. Повод для этого представится неожиданный: в отделе вдруг запахло мертвечиной, да так, что дышать невозможно. Помытарились, посудачили и — вызвали мастеровых. Те подняли половицы и обнаружили под ними дохлую крысу, которой и вечная мерзлота не мешала интенсивно разлагаться.

Стихи — они не сапоги,
Вся суть, наверное, в поэте:
Матвеев прочитал стихи —
И крыса сдохла в кабинете, —

тотчас вслух сообразил я. Через полчаса этот немудреный стишок повторяла вся редакция. Самолюбие Владимира Васильевича было задето, да так, что и два десятилетия спустя, в подвале ЦДЛ, не преминул он выговорить мне за прошлое.

Но это к слову, мимоходом. А вообще-то, уж коли мои незатейливые вирши заронили искру сомнения в душу Владимира Васильевича, что говорить о стихах Коли Рубцова! И его, бедного, поначалу не публиковали по той же самой причине: а дано ли такое рядовому матросу?! И только когда сошлись мы ближе, когда воочию узнали цену каждому — развеялись все сомнения, исчезла необходимость подозревать и проверять...

2

Это потом уже, годы спустя, в известном пыле всем стихотворении Рубцова «Стукнул по карману — не звенит...» появится пронзительная концовка:

Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

И возвышенно-грустное название свое — «Элегия» — обретет это стихотворение позже. В таком виде, строго говоря, будет оно опубликовано на сотой странице сборника «Звезда

полей», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1967 году.

Мы, североморцы, слышали это стихотворение десятью годами раньше. Был у нас в заводе добрый обычай: каждое занятие литобъединения завершать чтением юмористических стихов, экспромтов, пародий и эпиграмм друг на друга, чаще всего сочиненных тут же, по ходу разговора. Молодые все были, зубастые, случалось порой, слово опережало мысль: где бы и подумать, помолчать — ая нет, спешишь высказаться...

Вот в такой как раз обстановке и прочел Рубцов стихи, которым в будущем суждено будет стать «Элегией». И не было в ней, то бишь в них, в стихах, ни слова о Ялте: последняя строфа целиком повторяла первую, только глагол «полетели» стоял в настоящем времени. И «зенит» соседствовал с другим эпитетом: «безоблачный». Вот так читалось: «В коммунизм — безоблачный зенит улетают мысли отдыхать...»

Мы — три десятка моряков, летчиков, солдат, военных строителей — восприняли это стихотворение как шутку, не более. А иначе и быть не могло. Давайте вспомним:

Но очнусь и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог.
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок...

Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то, что не вязалась — противоречила ему. Был Николай, как уже сказано, ростом невелик, но крепек. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этакий даже петушковатый вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Да и не впервой надел он тельняшку — успел, до военного-то корабля, на рыболовных походить. Помните: «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте...» А стихи читал напористо, энергично — не так, как читал позже, на гражданке, когда стал если и не знаменитым еще, то достаточно известным.

Повторяю, мы воспринимали это стихотворение как шутку. И по-своему были правы. Кто из нас, двадцатилетних, мог всерьез воспринять строки о памяти, что «отбивается от рук», о молодости, что «уходит из-под ног»? Жизненные дали для нас, по сути, только начинались...

После — надолго — первые строки этого стихотворения стали для литобъединенцев своеобразным паролем. Встречаясь — в увольнении, на занятиях ли — кто-то протягивал руку, приветствуя товарища, и с улыбкой изрекал: «Стукнул по карману — не звенит...» «Стукнул по другому — не слышать...» — неизменно подхватывал второй. Так оно, в общем-то, и было, по этой вот строчечной сути: велико ли жалование у матросов и старшин срочной службы?!

Сам автор, помнится, читал стихотворение с

улыбкой, чуть виноватой. Вроде бы говорил: не принимайте всерьез, ребята...

Вот ведь как все обернулось!.. Не знаю, успел ли Николай в Ялту. А на сохранившейся у меня коллективной фотографии литобъединения он все тот же: значок отличника ВМФ на суконке, перемежающиеся полоски тельняшки, пышные усы, задиристые, цепкие глаза.

В сборниках Николая Рубцова «Элегия» датируется шестьдесят первым или шестьдесят вторым годом. А это неправильно: надо бы ставить пятьдесят седьмой или пятьдесят восьмой. Среди тех, кто слышал ее в то время, были и нынешние писатели Борис Романов, Станислав Панкратов, Юрий Кушак, Илья Кашафутдинов, Владимир Матвеев, Александр Золототрубов, журналисты Олег Лосото, Владимир Ивачов, Лев Сузин...

Нужно сказать, что у нас, литобъединенцев, служба и творчество шли, говоря по-флотски, параллельными курсами. Нас никто не освобождал от вахт, от выходов в море, от исполнения нелегких моряцких обязанностей. Более того, участвовать в работе литературного объединения имели право только отличники боевой и политической подготовки, и «добро» на такое участие давалось в каждом случае командиром части или корабля. В то же время Политуправление Флота и редакция газеты постоянно привлекали нас к выпуску тематических и литературных страниц, поручали нам подготовку различных листовок и агитплакатов. Очень часто выступали мы в подразделениях, на кораблях, в матросских клубах, в Домах офицеров и даже на «голубом экра-

не» — из студии только что народившегося в Мурманске телевидения. Силами литобъединения было выпущено несколько сборников поэзии и прозы, и в сохранившихся у меня книжках немало страниц со стихами матроса Николая Рубцова. В феврале 1959 года увидел свет первый номер нашего альманаха. Имя ему дали мы, исходя из своего географического положения: «Полярное сияние». Насколько я знаю, уже и после того, как распрощались мы с Севером, альманах продолжал выходить в свет, хотя никого из нашего поколения североморцев и в литобъединении, и в редакции флотской газеты уже не осталось.

Но это — к слову. Речь же о том, в каком котле мы варились, какую получали закалку. Скажу, не кривя душой: это была отличная школа. Не объяснишь случайностью тот факт, что более двадцати человек из нашего литобъединения — все сверстники почти, ровесники, одного года призыва ребята («годки» — на флотском языке) — стали членами Союза писателей СССР. Многие бывшие матросы и старшины сегодня — профессиональные журналисты или издательские работники, получившие после службы образование в Литературном институте, в Московском и Ленинградском университетах.

3

Однажды Николай прочитал стихи, в которых царапнули слух слова «клавиатурное со-
прано».

— Тут что-то не так, — заметил я.

— Сам чую, что не так. А как надо?

Но «как надо», я тоже не знал. И мое му-

зыкальное образование ограничивалось уроками пения в начальной школе.

Вертели так и этак, прикидывали, взвешивали и... пришли к мысли, что все-таки правильно: «клавиатурное» — от слов «клавиши, клавиатура».

Если правильно — можно и успокоиться. Тем паче что и ребята в литобъединении придерживаются той же точки зрения. Ум, как известно, хорошо, два — лучше, а тут вон сколько умов сразу!

На следующем занятии Коля просветленно возвестил:

— Олухи мы все! Не клавиатурное, а колоратурное сопрано...

Точно ведь, колоратурное! И что за наваждение, как это мы все забыли?

— Ты-то каким образом вспомнил? — спросили его.

Ухмыльнулся загадочно:

— Нашлась добрая душа, просветила...

С той же самой поры держу в памяти и четыре строчки из другого его стихотворения:

Июньский пленум
Решил вопрос:
Овсом и сеном
Богат колхоз...

Продолжения не помню.

Едкие, насмешливые стихи. «Писал на политзанятиях», — признался.

ГАДЖИЕВА, 9

1

В Североморске до поры до времени моим пристанищем стал дом № 9 по улице Гаджие-

ва. Мы четверо — Стас Панкратов, Володя Соломатин, Юра Кушак и я — жили коммуной, и это была необыкновенно замечательная жизнь! Комната, заставленная узкими солдатскими койками и раскладушками. Два стола с грудой рукописей на них. Пишущая машинка «Москва» с разболтанным шрифтом. Фотокамера на подоконнике. Книги — тоже на подоконнике и на полу, стопками.

Ребята, конечно же, и не подумали запастись в зиму дровами, а дом был тот еще — финский, «сборно-щелевой», битком набитый сквозняками и морозом! В разверстую пасть прожорливой печки летело все, что подвергывалось под руку: подшивки газет, старая обувь, черновики. Прогорало моментально, тепла не набиралось и столько, чтобы у приоткрытой дверцы согреть руки. Кушак и Соломатин спали не раздеваясь, в пальто и шапках, мы со Стасом держали форму: отбивая дробь зубами, разоблачались до трусов, ныряли под одеяло, как в прорубь во льду. В какую-то особо лютую минуту родился лозунг: не возвращаться домой без полена! Научились прихватывать у заборов, благо темень — хоть глаз выколи. Соломатин однажды перестарался: выдергивая полешко, развалил всю поленицу, зашиб ногу. На шум выскочил хозяин, спустил на Володьку здорового пса. Спасение было в одном: отбиваться поленом. И Володька остервенело отбивался, и вернулся к родному очагу искусанным, хромым, но — победителем, с трофеем под мышкой.

Потолок в своей обители мы сплошь залепили фотографиями, а Новый год встречали у елки, подвешенной к этому самому потолку, при-

чем висела она, украшенная черновиками и авторучками, макушкой вниз. Вечером первого января елку со всеми украшениями торжественно сожгли все в той же печке.

— Весело живете, парни, — позавидовал Рубцов, навестив нас в увольнении. — Я про вашу хату песню сочиню.

Песни «про нашу хату» он не сочинил, но навевался часто. А однажды, когда живший за стенкой сосед пришел ругать нас за то, что не топим печь и воруем его тепло, Коля поднялся со стула, простер длань с указующим перстом и торжественно изрек:

— Вы грубый, невоспитанный человек в грязных сапогах. Вам нет места в этом храме. Немедленно выйдите вон!

Ошарашенный сосед, тупо моргая, послушно скрылся за дверью. Мы рассмеялись.

— С чего ты про сапоги завернул? Он же в шлепанцах ввалился.

— Мне показалось, что в сапогах. В грязных, — на полном серьезе ответил Рубцов.

Навряд ли он сохранился до нынешних дней, этот дряхлый дом на улице Гаджиева. А я вспоминаю его, как вспоминают молодость: с теплой грустью в душе. Хватило в нем места и для Ильи Кашафутдинова, и для Олега Лосото, и для Володи Ивачова, когда их тоже позвали служить в газету, и для многих других отчаянно неустроенных и отчаянно веселых парней.

Нет уже в живых Володи Соломатина, работавшего после Севера в секретариате «Литературной России». Умер Коля Рубцов. Мы, живые, порой не встречаемся годами. Но если повезет, если столкнемся на каком-нибудь писа-

тельском совещании — разговор невольно начинаем так:

— А помнишь, на Гаджиева, девять...

2

Редактор флотской газеты Михаил Ефремович Овчаров, несмотря на полковничьи погоны, был добрейшей души человек. Он обладал драгоценным даром подметить любой мало-мальский талант. Сколько возился он с нами, молодыми, как щедро открывал страницы газеты для наших стихов, рассказов, очерков, как много сил и сердечного жара вложил в выпуск нашего альманаха «Полярное сияние»!

Имя Николая Рубцова, как и имена других флотских поэтов и прозаиков, все чаще появляется в печати. И не только под стихами (или над заголовками таковых). Вот, к примеру, любопытная цитата из фельетона Георгия Семенова, обрушившего свой сатирический бич на графоманов. Поучая их необходимости бережного отношения к поэзии, к слову, фельетонист говорит: «...к 25-летнему юбилею Флота вышел литературный сборник «На страже Родины любимой». В нем напечатаны стихи военного летчика Василия Выхристенко, подводника Владимира Жураковского, радиотелеграфиста Александра Проценко, дальномерщика Николая Рубцова... Не вдаваясь в анализ творчества начинающих флотских поэтов, хочется отметить, что на каждом стихотворении, вошедшем в сборник, лежит печать трудолюбия. Сами же авторы ничем не выделяются среди окружающих, это скромные люди... Все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение...»

Пишущий жаждет печататься. Это естественно. Нам мало было газеты, хотелось видеть свои творения на страницах книг.

Политуправление пошло навстречу: выпустили несколько сборников.

Аппетит приходит во время еды: возжелали постоянного издания. Всерьез мечтали о журнале для Северного флота, стопроцентно убежденные, что по художественным своим достоинствам не уступит он ни «Советскому воину», ни «Советскому моряку». А ежели очень постараться — можно и переплюнуть их.

. Наверно, в тщеславном своем честолюбии мы так запугали будущих своих конкурентов, что в журнале нам отказали наотрез (иначе и быть не могло). Зато разрешили альманах журнального типа, который и нарекли мы «Полярным сиянием».

Запись в дневнике:

«14 февраля 1959 года, суббота.

Наш альманах помалу готовится к выпуску. Прискорбен тот факт, что едва ли не 50 процентов всей печатной площади заняты под вирши, большой стихотворный обзор, песни и снимки В. Матвеева. Подготовка альманаха была сосредоточена в руках этой «звезды седьмой величины» (он о себе), редколлегия оказалась слабовольной. Но черт с ним, жаль вот только, что многие талантливые ребята не попали. Рубцов, например, Волоха Соломатин...»

«Ах поэты, забавный народ!..» — воскликнул некогда Есенин. Забавный... Со сколькими знаком и дружен, сколько начинающих стихотворцев приходит ко мне сейчас, неся в руках тонкие тетради с первыми опытами, а в душе — груз неведомых надежд. Двое или трое, из глу-

бинки, взяли за правило читать новые стихи по телефону, загадав мне тем самым непосильную загадку: из каких таких гонораров оплачивают они дорогостоящие междугородние переговоры?! Но в общем-то я о другом. О том, что даже самый застенчивый и наискромнейший из поэтической когорты про себя уверен, что именно он подарит миру заветное, сокровенное, небывалое слово. Что именно ему потрясенное человечество отольет памятник из чистого золота.

Владимира Васильевича Матвеева, в то время капитана, начальника отдела культуры в газете, мы по-свойски звали Володей. В расположении духа любил Володя рассуждать о поэзии, о месте каждого в ней. Чтобы быть понятней, привлекал на помощь астрономию.

— На небе, — втолковывал за чашкой чая, — есть звезды первой, второй и других величин. Так и в поэзии. Твардовский — звезда первой величины. Б. и Ф., — называл известных поэтов-маринистов, — звезды второй величины. Ну а я, наверно, пока седьмой, — потупя очи долу, скромничал он. И тут же вносил поправку: — Но все равно звезда!

— Да что там звезда! — не выдержал однажды Коля Рубцов. — Солнце ты, Владимир Васильевич. Незаходящее солнце кольской поэзии.

Так оно, «солнце кольской поэзии», и привилось применительно к Володе.

Не знаю и припомнить теперь не могу, почему в первый номер альманаха не вошли Колины стихи. Может, сам Рубцов не подготовил подборку к сроку. А может, и Владимир Ва-

сильевич перестарался, чересчур щедро подавая себя. «Солнце» рассверкалось вовсю, и другие флотские поэты, представленные каждый одним-двумя, отнюдь не из лучших, стихами, выглядели в этом сиянии бледно и немощно.

Обернулось все это скандалом. Запись в дневнике:

«12 апреля 1959 года. Занятие литературного объединения. Вели разговор о выпуске второго номера альманаха. Общее сетование по поводу того, что в номер первый не вошли стихи Н. Рубцова».

Сетование — мягко сказано. Разговор был жарким, штормовым. В пух и прах изругали Матвеева и единодушно — вот что главное! — сошлись во мнении, что Рубцова следовало подать шире, чем кого бы то ни было.

Так оно и случилось — по-сказанному. Во втором номере «Полярного сияния» Николай был представлен полнее всех других поэтов: разворотом, россыпью стихов на отдельных страницах, даже пародией. Впрочем, пародия была не его — на него.

3

Теперь о пародии.

Есть у Рубцова небольшое стихотворение, главная героиня которого — наша неприхотливая, стойкая северная береза. Впервые оно было опубликовано в газете «На страже Заполярья», потом вошло в юбилейный сборник «На страже Родины любимой». Вот оно, это стихотворение:

Северная береза

Есть на Севере береза,
Что стоит среди камней,
Побелели от мороза
Ветви черные на ней.
На морские перекрестки
В голубой дрожащей мгле
Смотрит пристально березка,
Чуть качаясь на скале.
Так ей хочется «Счастливо!»
Прошептать судам вослед.
Но в просторе молчаливом
Кораблей все нет и нет...
Спят морские перекрестки,
Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой березке
На обветренной скале.

Такие вот сентиментальные, и не без влияния классика, вирши. Но Колина «Березка» вдруг вызвала бесчисленное множество подражаний. В редакцию хлынул поток стихов о полярной березке, отдел культуры оказался буквально заваленным ими. Машинистки задыхались, перепечатывая письма с убедительной просьбой к военкорам больше не тратить вдохновения на милую сердцу карликовую березку. Военкоры, не вняв просьбе, упрямо продолжали рифмовать «березу» с «материнскими слезами» и «девичьими косами». Тогда-то мы, сотрудники отдела — Станислав Панкратов, Юра Кушак и автор этих строк, «осердясь» на Рубцова, породившего «Березу», подражателей и подражания и задавшего нам столько работы, и сочинили пародию. Позднее, в ряду других,

опубликовали ее во втором номере альманаха «Полярное сияние». Переписываю ее оттуда.

Н. Рубцову
и прочим поэтам, воспевающим
заполярную бе-
резку (список бесконечен).

Березка заполярная

Есть на Севере береза,
Что стоит среди камней,
Есть на Севере береза —
Дай попробую о ней!

Распишу ее, раскрашу.
В голубой дрожащей мгле
Хороша береза наша,
Лучше нету на земле.

Пусть о ней стихата хлипки.
Но коль дан пиитам дар,
Обдерут ее как липку,
Изведут на гонорар.

Не обольщаю себя надеждой относительно художественных достоинств нашего коллективного творения. Но свершилось чудо! Пародия, прочитанная поначалу на занятии литобъединения, сделала свое дело: стихи о березке, насколько я помню, больше в редакцию не приходили. А Коля Рубцов, слушая пародию, улыбался. Те, кто близко знают его, помнят, как умел он улыбаться: застенчиво, смущенно. И, как бы подводя итог всей этой истории, сказал:

— Все правильно, ребята. Согласен и не в обиде. Как-то бездумно мы иногда пишем: берем то, что лежит на поверхности...

Подозреваю, втайне он был доволен тем, что незатейливое его стихотворение так взбаламутило флотских стихотворцев.

Но мог ли я думать в то время, что через много лет услышу своеобразное продолжение этой истории? Весной 1975 года черновицкие писатели пригласили в гости группу рязанских литераторов: наши области с давних пор и дружат, и соревнуются меж собой. Остановились мы в гостинице «Буковина». Там, в холле, поджидая товарища, разговорился я однажды с коридорной. Милая женщина, белоруска по национальности, она рассказала, как во время войны пятнадцатилетней девочкой партизанила, как съездила минувшей осенью на встречу боевых друзей в Полесье. Затем — по какому случаю, не вспомню — сообщила, что ее родственник недавно отслужил срочную на Северном флоте, что вечерами приходит в гости к ней, к ее мужу, и «поет под гитару моряцкие песни, очень красивые — то веселые, а то и грустные».

— Вот эта мне особенно нравится, — сказала женщина. — Сейчас я вспомню ее, попробую напеть...

И напела. Слова я узнал сразу: «Северная береза». Те самые Колины стихи. Но Рубцов, доподлинно знаю, сам под гитару их не пел. Выходит, когда-то и где-то, в кубрике какого-то корабля, кто-то из моряков, перебирая струны гитары, придумал для незамысловатых в общем-то слов и мелодию не очень-то хитрую, а получилось душевно, хорошо,

Это тоже высокое качество рубцовской поэзии: многие его стихи поются и песни те, можно сказать, по всем признакам народными стали.

В ЗАПАС

1

По дому тоскуют все — и первогодки, и «старички». Но тоска у тех и других неодинаковая. Салажонок, которому, по присловью, служить как медному котелку, то есть бесконечно долго, в будущее старается не заглядывать. А тоску-печаль свою изливает в длинных посланиях знакомым девушкам, где чаще всего напропалую врет про свои воинские доблести. У старослужащих позиция иная. Тут все: и беспокойная думка о том, как устроить свою судьбу после службы, и неумемное стремление подстегнуть время, убыстрить бег дней, оставшихся до желанного «дембиля». Иные умельцы, дабы не впасть в отчаяние, а домой вернуться в лихой военно-морской красе, часами обтачивают козырьки для неуставных, стачанных на заказ «мичмапок», перешивают клеши и суконки.

Рубцову тоже предстоит увольнение в запас. И нет у него никаких планов на будущее, только смутная тревога в душе. Подтверждение тому — строки из письма, которое получил я от него в феврале пятьдесят девятого года:

«...О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели

всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!»

Те же мотивы и в другом письме, которое принесли мне в последний день мая. Его, пожалуй, стоит привести полностью.

«Валя, здравствуй! Здравствуй!

Пишу тебе из мурманского госпиталя. Требовалась легкая операция — вот я сюда и угодил.

Дня три-четыре мучился, потом столько же наслаждался тишиной и полным бездействием, потом все надоело. На корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится таять на кошку или на луну.

Обстановка для писания стихов подходящая, но у меня почти ничего не получается, и я решил убить время чтением разнообразной литературы. Читал немного учебник по стенографии — в основном искал почему-то обозначения слов «любовь» и «тебя», читал повеллы Мопассана, мемуары В. Рождественского в «Звезде», точнее, в нескольких «Звездах», и даже «Общую хирургию» просматривал. Между прочим, пришло здесь в голову, кажется, удачное сравнение: моряк обязан знать свое дело, как хирург свое дело знает. Каждый моряк.

Еще занимаюсь игрой в шахматы.

В понедельник или во вторник на следующей неделе выпишусь.

Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, по-

смотреть на давно знакомые памятные места, поклоняться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.

Ужасно люблю такие вещи.

С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, приставив динамик к самому уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами.

Ну, хватит об этом.

Посылаю тебе два стихотворения: «Дан семилетний план», «Сестра». Первое озаглавлено строкой Н. Асеева, и этот заголовок измени, если хочешь, как хочешь.

Второе написано с посвящением девушке-медсестре.

Не подумай, что я влюблен, точнее, не подумай, что только я в нее влюблен: ее любят все за ее чудесный характер и работу. С ней говорить — то же, что дышать свежим, чистым воздухом.

Если что не пойдет в газету, сообщи об этом.

В прошлое воскресенье случайно увидел Проценко. Он к кому-то приходил в госпиталь. Поговорили немного о делах, так сказать, литературных.

Ну, будь здоров!
До свиданья!

С приветом, с горячим дружеским приветом

Н. Рубцов.

PS. В стихах о семилетке в последней строфе слова «Ведь в каждом деле...», может, луч-

ше заменить на «И в каждом деле...». Посмотри. В таком случае после сл. «растущее» надо будет, наверно, поставить многоточие?

А ты получил стихи «Первый поход»? А будет напечатано «Счастливого пути»?

Ответ пиши, конечно, не на госпиталь, на прежний адрес».

Прежде чем заняться комментариями к этому письму, я заглянул в дневник. Освежить в памяти, чем жили мы и чем жила страна в те последние дни мая 1959 года.

Наши заботы были негромкие. Я, к примеру, только что вернулся из командировки в Заполярный и Никель — молодые северные города. В Заполярном мне повезло: среди его строителей-добровольцев встретил девушек-землячек — героинь своего будущего очерка. А Никель произвел удручающее впечатление: «Газы, выделяющиеся при выплавке никеля из руд, уничтожают все живое: вокруг голые стволы когда-то огромных красавиц сосен, трава не растет, и только человек живет», — записал я в блокноте.

Это, как говорится, во-первых. А во-вторых, нашей вольнице, нашей коммуне на Гаджиева, 9, пришел конец, о чем также свидетельствует запись в дневнике: «Стах (Панкратов) в отпуске. Не успел доехать до дому — получаем телеграмму: жепился! Предлагает подумать нам о жилье. Вполне обоснованно. Нужно выметаться».

Выметались по-разному. Хитрый Юра Куптак вызвал из Москвы жену с ребенком, и Михаил Ефремович, поворчав для порядка, выбил-таки для него комнату в таком же «сборно-щелевом» доме, но уже на окраине

Североморска, на улице Восточной. А я, холостой-неженатый, надолго перетащил свою раскладушку в редакцию, в тесный кабинет художника Коли Рубаненко. О мои ноги, торчащие из-за приоткрытой двери, по утрам спотыкался заместитель редактора Василий Проккопьевич Беловусько. Отношения у нас с ним, начисто лишенным чувства юмора, с самого начала были отнюдь не радужные, теперь же он и вовсе грыз меня поедом.

Впрочем, все это, как уже сказано, явления заурядные, второстепенные. Личного, так сказать, порядка. А вот запись о событии куда более значительном: «...завершил свою работу III съезд писателей.

Особенного, мне кажется, в жизнь литературы советской он ничего не внесет.

Понравилось выступление Твардовского. Хорошо говорили Б. Зубавин, А. Калинин.

Хрущев в своей речи занимался тем, что рассказал несколько анекдотов писателям и призвал их быть лакировщиками. В дурном понимании этого слова. Иначе о выступлении премьера не скажешь».

В те же примерно дни меня из культотдела перевели на должность литературного секретаря. «В целях улучшения работы редакции» — так было сказано в приказе. Я отчаянно сопротивлялся, но... дисциплина оказалась сильнее. И запись в дневнике по этому поводу предельно скорбная: «Работаю в секретариате, с потерей в жалованье. Ребята смеются: последователь Гагановой».

Строкомером я овладел быстро, и шрифтами на полосе научился играть — дальше некуда, но лишился живого дела!.. А потом вдруг об-

наружилось, что, получив доступ к редакционному портфелю, я могу чаще ставить на полосу рассказы, очерки, стихи наших авторов. И я не то что смирился — успокоился.

А теперь вернемся к письму Рубцова. Кое-что в нем требует уточнения или пояснения.

Саша Проценко, матрос, с которым Николай случайно встретился в госпитале, был одним из активнейших в нашем литобъединении поэтов, печатался во флотской газете, в коллективных сборниках.

«А будет напечатано «Счастливого пути»? — спрашивает Рубцов в постскриптуме. Тут вот о чем речь. Под такой рубрикой газета наша в то время — не от случая к случаю, а довольно часто — печатала поэтические подборки с обязательным портретом автора, с коротким напутственным словом кого-нибудь из товарищей по перу. Подборку Николая мы тоже дали, но вот сколько ни ворошил свои бумаги — не нашел вырезки с его «Счастливым путем». И теперь мне хочется попросить нынешних молодых поэтов и прозаиков Северного флота: если вам, дорогие друзья, попадутся на глаза эти строки — полистайте в архивах редакции подшивку газеты «На страже Заполярья» за 1959 год, начиная с июня месяца. Вы обязательно найдете эту подборку.

Сохранились, вместе с письмом, и оба стихотворения, о которых упоминает Николай. Думается, нет надобности приводить здесь первое из них — «Дан семилетний план». На мой взгляд, оно отличается заданностью, прямолинейностью, нехарактерно для Рубцова.

Зато сколько мягкого, неназойливого, истинно рубцовского юмора в простеньком стихо-

творении «Сестра»! (Там и посвящение конкретному человеку — «Медсестре Д. Наде», кстати сказать, фамилия на оригинале указана полностью.)

Вот это доброе свойство — смотреть на окружающий мир, на свое в нем место с мягкой и грустной улыбкой — будет блестяще проявлено Николаем в его поздних стихах. В таких, к примеру, как «Родная деревня», «Старпомы ждут своих матросов...», «Добрый Филя», «Медведь», «Про зайца...». Как в знаменитой «Шутке» («Мое слово верное прозвенит!...») или в крохотных по размеру стихотворениях «Узнала» и «Коза». Господи боже мой, да разве ж перечислишь все! И не мое это вовсе дело — пусть разбором поэзии занимаются профессиональные критики. То же, что я сейчас пишу, — всего лишь набросок к портрету товарища, робкий черновик.

Итак, «Сестра» (разбивка строк в стихотворении соответствует оригиналу).

Медсестре Д. Наде

Наш корабль с заданием
В море уходил,
Я ж нехотати в госпиталь угодил.
Разлучась с просторами
Синих волн и скал,
Сразу койку белую ненавидеть стал.
Думал, грусть внезапную
Чем бы укротить?
Свой недуг мучительный
Как укоротить?
«Жизнь! — иронизировал. —
Хоть кричи «ура»...
Но в палатку юная вдруг вошла сестра.

Словно гений нежности,
Гений доброты,
Обратилась вежливо,
Жаль, что не на «ты»,
— Это вы бушуете? —
В голосе укор.
Ласковой добавила:
— Сделаем укол.
Думал я о чуткости
Рук, державших шприц, —
И не боли — радости
Не было границ.
Знать, не зря у девушки
Синие глаза,
Как цветы, как русские наши небеса.

Подпись под стихотворением: старший матрос (старшим стал!) Рубцов Николай. И номер воинской части, то есть в этом случае адрес воинского госпиталя.

В газете это стихотворение не публиковалось. Не знаю, читал ли его Николай медсестре Наде, скорее всего — нет. Но подозреваю, что именно обаяние Нади и заставило его искать стенографические обозначения слов «люблю» и «тебя».

И еще вот на что хочу обратить внимание — на то, как перекликаются строки из первого письма со строками из второго. В первом: «...все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни...» Во втором: «Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места...»

Тот, повторю, кому довелось служить в армии или на флоте, знает: последний год — он самый трудный. И тоска по дому терзает сердце, и в то же время неуверенность волнует: сможем ли мы, уже отвыкшие от гражданки, найти себя, свое место в гражданской жизни? Человек с характером, с темпераментом Коли не мог позволить себе плыть по течению, делать то, что подскажет обстановка. Не мог он уподобиться лежащему камню, под который вода не течет. И всей своей короткой, стремительной жизнью доказал это.

Он и заветное свое желание «послаться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра» успел исполнить. Бродяжил (в самом лучшем смысле этого слова) по Руси — вечный странник, негоседа, не имеющий ни кола, ни двора. Истинный Поэт!

Но все это будет потом, потом. А пока — госпитальная жизнь, которая пусть и легче корабельной, «но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи». Со стихами не ладится, оттого и читает все подряд; и, вечно тоскующий по вниманию, по ласковому слову, влюбляется, и даже в шахматы, люто ненавидимые им, играть пробует. Выйдя из госпиталя, вернется на корабль, продолжит боевую службу. Даже — превосходный ведь был моряк-то, знал свое дело дальномерщика не хуже, чем хирург знает свое! — успеет стать старшиной второй статьи.

2

Из госпиталя он вернулся просветленный и, если здесь уместно это слово, обновленный.

— Что с тобой было, по какому случаю операция? — спросил его.

Беспечно махнул рукой.

— Ерунда!

И похвастался не без усмешки, что на дармовых харчах прибавил в весе, достиг упитанности «выше средней». Иронизировал, не догадываясь, что не за горами время, когда подолгу будет жить впроголодь...

Наверно в предчувствии скорого расставания, встречались мы теперь, как никогда, часто. Был самый разгар полярного лета, и алый парус солнца круглые сутки плавал над головой, не желая прятаться за сопки. Мы часами шатались по улицам Североморска — вдвоем, втроем, вчетвером. Все друзья, ровесники. Читали друг другу стихи — свои и чужие. Спорили — яростно, тоже друг друга не щадя. Мечтали о том времени, когда обретем уверенность в своих силах, чтобы написать об этом вот — о флоте, о Североморске, о юности своей на улицах Сафонова, Гаджиева, Полярной. Повести написать, поэмы...

Что-то подзадержались мы с исполнением этой мечты, а, ребята? Это я к Стасу Панкратову обращаю свой вопрос, к Юре Кушаку, к Илье Кашафутдинову, к Сереже Шмитько. И — к себе самому.

Но это так, в порядке лирического отступления. Или напоминания о том, что долги надо платить.

Да, вот еще... Погода держалась на редкость теплая, и грибы на мшанниках росли чаще, чем карликовые березы. Уйма, пропасть грибов! Когда в городе дышать становилось не-

вмоготу (изредка, а случается такое и на Крайнем Севере), мы подавались на Щука-озеро. Купались в обжигающе ледяной воде, бродили в сонках, то и дело кланяясь грибам.

Как-то уехали на редакционной машине: шофер, Юра Кушак, отважившийся на само-волку Коля Рубцов и я. В озеро Рубцов входил неохотно: кусается вода, жалит! Зато обилие грибов поразило его несказанно. Радовался как ребенок:

— Господи, да их тут косой не возьмешь!

К вечеру вернулись в редакцию и с двумя ведрами, полными отборных грибов, двинули на Восточную, к Юрке. Шагали бодрой рысцой, предвкушая, как отварим грибки да сыпанем на сковородку — экое будет жаркое! И тут случилось неожиданное: дорогу нам преградила хмельная ватага, особой этак шесть или семь. Матерятся, кулаками сучат. Запахло мордобоем. Мы с Юркой опустили ведра, готовые защищаться, а Коля проворно нагнулся и схватил с земли ребрастый булыжник.

— Не подходи! — выкрикнул с искаженным лицом.

Ватага покружилась вокруг нас и, матерясь, уступила дорогу.

— Это, кореша, не те, не они... — донеслось в спину сожалеющее, с хрипотцой. — Хотя и этим бы ввалить стоило.

— За Нинку изгваздать хотели, — пояснил всезнающий Кушак, имея в виду перезрелую сотрудницу редакции, за которой давно и не без успеха волочился туповатый сверхсрочник двухметрового роста. И уточнил: — А за Нинку вовсе и не нас надо...

— Колька, — сказал я Рубцову, — ты же противник всякого насилия, а тут... за камень сразу.

Он внимательно взглянул на меня: не смеюсь ли? И очень серьезно ответил:

— Я же детдомовский. Меня часто били. Может, вовсе убили б, да вот... приходилось иногда. — И, наверно желая оправдаться, добавил: — Видал, какие жлобы! Каждый вдвое меня длинней.

Несостоявшаяся эта драчка почему-то запомнилась. Дело, скорее всего, в том, что впервые увидел я Рубцова, готового переступить черту...

А вот когда собираю грибы в своей Мещере — непременно оживают в памяти тот давнишний солнечный день в сопках, взрывная Колина радость, порожденная обилием грибов, и стихи его, написанные позже: «Сапоги мои — скрип да скрип...»

3

К осени солнце сошло на нет, скучными, короткими стали светлые часы.

В воскресный день, получив увольнительную, Коля на катере добрался из Мурманска в Североморск и объявился у меня на квартире: в сентябре я как раз стал новоселом, на двоих с Олегом Лосото получил шестнадцатиметровую комнату в новом каменном доме.

— Проститься пришел. На этой неделе уезжаю. Точка! Отслужил...

Посидели, помолчали. По рюмочке-другой — каюсь! — в нарушение воинских уставов опрокинули.

— Куда же проездной выписываешь?

— Еще не надумал. — Грусть была в его голосе. — Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее... — И с той же грустью добавил: — Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить. Теперь самому ломать придется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь? Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?

Я проводил его к причалу. Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая волна медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливается в море.

— Ты-то долго на Севере задержишься? — спросил он.

— Не знаю. Учиться нам надо.

— Надо, еще как надо! Только получится ли сразу?.. Все думаю, к какому берегу волна меня прибьет...

Истекало время его увольнения, и катер был готов отвалить от причала, и надо было прощаться. Мы обнялись.

— Ну будь!

— Будь!..

Он все стоял на палубе и размахивал бескозыркой, пока не скрылся катер из виду.

4

Через какое-то время я написал ему в Ленинград, собственно, не совсем даже в Ленинград — во Всеволожский район, на Невскую

Дубровку, на улицу Первой пятилетки. То есть по адресу, который он и оставил.

Ответ пришел нескоро. Николай писал, что и мое письмо получил не сразу, «поскольку с прежнего места жительства... давно переехал в Ленинград». Поздравлял меня с началом семейной жизни (его выражение) и по этому случаю даже неприятельские стишки сочинил:

Пусть в дальнем
 домике твоём
Никто ни с кем не лает.
Пусть только счастье
 входит в дом
И все, что пожелается.

Рассказывал о том, как ему живется (а жилось ему, судя по всему, не очень-то сладко). Интересовался делами в литобъединении, судьбой своих стихов. Жаловался на скудный гонорар из нашей газеты. Кланялся знакомым.

«Вообще, — писал, — живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. **А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться**» (подчеркнуто мной. — В. С.).

Вроде и бодрым был тон в письме, а зябко мне стало, неприкаянно, когда раскрыл я его и прочитал. Будто воочию всю неустроенность, все одиночество Колино увидел. Пошел к секретарю редакции — выяснить, почему уволенному в запас североморцу такие скудные гонорары.

рары платят. И понимал: гонораром, даже самым высоким, тут немного поможешь.

То письмо было отправлено из Ленинграда 2 июля 1960 года. А еще через два года стоял я у дверей общежития на московской улице имени Добролюбова. Был поздний август, сумерки — тот хороший теплый час, когда и через силу не усидишь в стенах дома. Тем паче свежим воздухом подышать хотелось, потому что через день или два начинался для меня второй курс учебы в Литературном институте.

К общежитию подходили двое. И что-то в походке невысокого, одетого в белую рубашку с короткими рукавами парня показалось мне странно знакомым.

— Скажите, — окликнул он, — где тут...

И в ту же минуту лицо его дрогнуло, изменилось. И, наверно, изменилось мое лицо.

Такой неожиданно радостной была наша встреча.

— Колька, Колька, — укорил я, — зачем же ты усы-то сбрил?

— А-а, усы... — махнул он рукой. — Тут вон на голове волос совсем, считай, не осталось. Очень я это переживаю...



**Часть вторая
В ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ**

ОБЩЕЖИТИЕ

1

Итак, мы обнялись у дверей общежития.

— А я предвидел, что на крыльце тебя встречу. Ехал в троллейбусе и знал: сейчас увидимся, — сказал Рубцов.

Это было на него похоже — вот так, убежденно, на полном серьезе, говорить о том, во что за минуту до того и сам не верил. Или о чем не подозревал. Хотя... Он же знал, что я учусь в Литературном, писал я ему об этом.

— Ты ведь ко мне вышел?

Я, наверно, разочаровал его, честно ответив, что вышел просто-напросто подышать.

— Но разве это что-нибудь меняет? — спросил я. — Давай чемодан, пошли на вахту. Помогу устроиться, а потом ко мне... Посидим, потолкуем.

Вот в эти первые мгновения встречи, в минуты бессвязного, прыгающего с одного на другое разговора и сфотографировал нас незамеченный нами Иван Кириллович Чирков.

Вездесущего Чиркова, или — попросту, по-студенчески — Кириллыча, без сомнения, помнят все выпускники послевоенного Литинститута. Значась преподавателем физкультуры, он, по-моему, больше преуспел в своем пристрастии к фотообъективу. Не сыщешь студента, которого он не умудрился бы «отснять». Подозреваю, что в архиве у Ивана Кирилловича богатейшее в мире фотособрание преуспевших и несостоявшихся талантов. Только из публикации этих снимков с коротенькими хотя бы комментариями получится захватывающая дух повесть, где великое будет соседствовать с малым, а трагическое со смешным.

Поработав исподтишка, со стороны, Кириллыч подошел ближе, поздоровался, усадил нас на скамью в сквере и велел смотреть в объектив. Он, по-моему, не прочь был истратить всю пленку, но нашей выдержки хватило ненадолго: нас сжигало нетерпеливое желание наговориться вдосталь. Все же два, да нет, уже три года минуло с того момента, как расстались мы на североморском причале.

Шепнув Кириллычу, чтобы малость погода поднимался вверх, в 207-ю, я, на правах старожилы, перевалившего на второй курс, повел

Николая в «общагу». Добрейшая Лидия Ивановна, помощница коменданта, тотчас определила ему комнату на пятом этаже, отомкнула каптерку. И пока Рубцов таскал матрасы и простыни, я этажом выше собирал на стол, застеленный газетами, нехитрую снедь.

2

— Ну вы живете тут! — восхитился он, предвительно постучав в мою дверь. Тоже, между прочим, деталь: даже в нашей бесшабашной литинститутской вольнице Коля никогда не входил в чужую комнату без стука. И тем отличался от многих других... А восхищение его, с которым переступил он порог, было, так сказать, восхищением вообще: Рубцова поразили порядки, царившие в стенах общежития (не нравы, а именно порядки! О правах речь впереди...). Просторная комната на двоих, холлы с телевизорами, кухни и подсобки на каждом этаже, душ...

— Буржуями живете, все равно как в доме отдыха! — повторял он, пристраиваясь к столу. И вдруг вздрогнул, откачнулся: — А это зачем здесь?

Я проследил за направлением его взгляда: с тумбочки, свирепо щеря зубы, пустыми глазами взирал на Рубцова голый череп.

— Для впечатления, Колька... Потомок Чингисхана, никак не меньше.

Череп этот с на редкость крепкими зубами и скулами явно выраженного монголоида привез из Киргизии, с раскопок какого-то захоронения, Женья Маркин. «Там все золото тащили, а я, дурак, ухватил эту черепушку и бегом от

геологов, — вдохновенно врал он проездом в Рязань. — Пусть у вас поживет временно».

«Временно» не получилось — череп прижился на постоянно. Ребята посвящали ему философские стихи о бренности земного бытия и растаскивали зубы на сувениры.

— Убери, — попросил Николай. — Не могу я... с ним.

Убрал, а когда «посиделки» наши кончились — запоздно, если не сказать на рассвете, снова водрузил его на тумбочку. Но Рубцов, приходя, уже не обращал внимания на эту, как я теперь понимаю, глупую и никчемную игрушку.

— А я, между прочим, уже книгу издал! — похвастался он в тот день, доставая из потертого ученического портфельчика цестро раскрашенную в синие, коричневые и зеленые цвета тетрадь. «Волны и скалы», — прочитал я на обложке и, конечно же, с ходу насел на него:

— Подари!

— Не выйдет. Тираж больно маленький: всего два экземпляра. Один для автора, второй для издателя, — заливал Рубцов, не выпуская тетради из рук. — После моей смерти подлежит обязательному уничтожению. Такова моя воля, так я написал в завещании...

Кочевряжился он недолго: я все-таки завладел сборником и убедился, что это отпечатанная на машинке рукопись, искусно сработанная под книгу.

— Могу подарить, — вдруг расщедрился Коля, но теперь я уже встал в позу:

— Подаришь, когда на самом деле издашь. До сих пор не могу простить себе этой не-

умной выходки. Уверен, что у меня эта *первая книга* Николая Рубцова — а именно так называл он ее: первой своей! — сохранилась бы в целости.

Но где-то, у кого-то она все же сохранилась. А в общежитии, помню, ходила из рук в руки, читалась парасхват. Кто-то даже пытался умыкнуть ее, и не единожды, но рано или поздно книга возвращалась к Рубцову.

...Снимаю с полки наши коллективные сборники, изданные на флоте, перечитываю Колины стихи. Волны и скалы — особенно любимый им, чаще всего употребляемый образ. Крутые, упругие волны и дремотные, хмурые скалы.

Иного названия у первой книги Рубцова и не могло быть. Оно — как итог четырехлетней службы на корабле и послефлотских скитаний, как приговор и дань прошлому, прожитому и пережитому.

Начинался новый день в его жизни, и, показалось мне, входил в него Николай Михайлович уже иным человеком.

3

Сборник «Воспоминания о Рубцове» (Северо-Западное книжное издательство, 1983 г.) изобилует свидетельствами очевидцев, подчас, на мой взгляд, довольно пристрастными. Перечитать все — сделать вывод: каждый из очевидцев приложил руку к становлению рубцовского таланта. И уже очерчивается круг действующих лиц, которые, якобы влияя на Рубцова, помогли ему подняться на невероятные творческие высоты.

Убежден, все это не так. Далеко не так. Николай Михайлович пришел в институт не подготавлишкой, а мастером, способным создавать зрелые, поражающие воображение стихи. Иные из тех, кто тщится сейчас выдавать себя за его учителей или доброжелателей, отлично понимали это. И завидовали его таланту. Порой зло завидовали и всячески старались принизить и унижить Рубцова, оскорбить насмешкой, завертеть, закружить в пьяном круговороте, выставить беспомощного — случалось и такое — за дверь, на позорище.

Где они теперь, эти опекуны наизнанку, какой след оставили в литературе? Думаю, и называть-то их имена рядом с именем Рубцова — вазорно.

Я не оправдываю Колю, не леплю из него ангела. Есть и его доля вины в том, что помимо нашей общежитейской нечистой братии постоянно крутились вокруг него прибалтанные типы, наезжавшие из «Питера». Поражали не столько их усеченные, лишенные славянского корня фамилии, сколько бесцеремонная наглость, бандитская развязность, с которой лезли они в душу поэта... Есть его вина и в том, что на первых порах за чистую монету принимал и лицемерные похвалы, и подлые заискиванья, и наглую лесть. К тому моменту, когда вдруг прозрел он и увидел истинную цену всей это накипи, душа его перестала быть цельной. В ней поселились, разрастаясь порой до гипертрофированных размеров, угрюмая подозрительность, грустное отчаяние, агрессивная озлобленность.

Он светлел лицом, встречая в коридорах общежития давних флотских друзей — Бориса

Романова, Илью Кашафутдинова, Игоря Пантюхова, часто навещавшего нас студента журфака МГУ Олега Лосото, сотрудничавшего в московских газетах Сергея Шмитко. Тянулся сердцем к молодым, незамутненным — Борису Шишаеву, Василию Нечунаеву. Но ведь и мы, бывшие флотские, и те, кто моложе нас, тоже каждую встречу начинали с бутылки. И заканчивали ею. В трагическом исходе Николая Рубцова и нашей выпы не отнять. Горький, непоправимый урок...

Но вот что еще... Перечитываю дневники тех, литинститутских лет и заново погружаюсь в эпоху — сложную, противоречивую, обильную на самые невероятные неожиданности. И думаю: как трудно было жить в этом временном, построенном из острых углов пространстве легко ранимому, ничем не защищенному поэту!

Но это — особая тема.

4

Уже пошлостью стали рассказы о том, что Коля Рубцов, то ли оригинал, то ли юродивый, все четыре времени года — осенью и зимой, весной и летом — ходил в валеных сапогах, в опояске из вервья.

Ходил в валенках, но — зимой! И правильно делал. Во-первых, потому что практично, а во-вторых, и это главное, жалел свои больные ноги. Лишения сиротского детства даром не прошли — аукнулись через годы.

О веревке — ложь!

Пальтишко на нем, верно, было не из модных. И пиджаки-рубахи не всегда только что

из магазина. Но вот чего не отнимешь у Рубцова — опрятности. Не терпел «пузырей» на штанинах, тщательно и подолгу стирал всякое случайное пятно на одежде. Да и старое, немодное сидело на нем так плотно и цельно, что казалось неотъемлемым, не нуждой, а качеством, черточкой в характере.

Однажды стихотворец Ф-в, желая стать студентом Литинститута, завалился на кафедру творчества в лаптях и телогрейке, подпоясанной действительно веревкой. Нахальный и, как все графоманы, изобретательный, хотел поразить и разжалобить мудрейшего Сергея Ивановича Вашенцева.

Рубцов, встретив Ф-ва на лестнице и не зная его, понял, однако, с какими намерениями тот возник в доме Герцена.

— Как же ты осмелился... таким убогим — и в русскую литературу! — воскликнул он гневно. — Ведь в русскую, дурак!

ALMA MATER!

1

Так вот, о времени, на которое пришлось наша учеба в Литературном институте. Я уже сказал, что было оно, время, сложным, бурным и противоречивым.

Экономическая политика Н. С. Хрущева, тароватого на самые невероятные посулы, перестройки, эксперименты, начисто вымела с прилавков магазинов мясо и масло вкупе с такими расхожими продуктами, как мука, крупа и макароны. Правда, витрины были заставлены консервами из кита: вскрыешь такую баночку,

а ее содержимое на глазах из серого становится бурым. Засвечивается! В деревне, которая кормила страну хлебом, очереди за печеным хлебом выстраивались с вечера. Как в недоброй памяти сорок шестом.

В литературе скандальный тон задавали тогдашние молодые. У подножия памятника великому Маяковскому выкрикивали стихи будущие диссиденты и перебежчики. Тут же из-под полы продавали порнографию, секс-макулатуру и тощие книжицы с тухлой — из-за кордона! — религиозной начинкой.

Россию навестила Ольга Карляйст — внучка Леонида Андреева. По Москве ее водил и возил Андрей Вознесенский. В книге «Голос в снегу», вышедшей за границей, Карляйст назовет поэтессу А. самой модной женщиной в столице. И этот дешевый комплимент вызовет бурное ликование у сверстников и почитателей поэтессы.

Парижский еженедельник опубликовал «Автобиографию» рано созревшего молодого человека». Снова взрыв ликования — в толпе, бдящей у памятника Маяковскому. Тут же ее, «Автобиографию», подслеповато отпечатанную на папиросной бумаге, «толкают» желающим за приличную деньгу. Стипендии, ей-ей, не хватит...

Один из будущих зачинателей знаменитого «Метрополя», захмелев от накатившей «оттепели», не устает кричать со всех трибун: «Мы — четвертое поколение в литературе, и мы протягиваем руку Дудинцеву, Пастернаку, Эренбургу...»

Сам Илья Григорьевич на собрании писательского актива Москвы, куда затащил меня

наш ректор Иван Николаевич Серегин, жалуется на притеснения и гонения, которым подвергал его Сталин. Возмущенная Галина Серебрякова, пережившая ссылку и нечеловеческие мучения, гневно выкрикивает с трибуны того же актива:

— Вам ли жаловаться! Вы в Париже отсиделись... И у Сталина любимчиком были!

В кипении нездоровых страстей вдруг родился документ о мирном сосуществовании идеологий, под которым поспешили подписаться и некоторые маститые, утратившие чувство партийной принципиальности. На том же самом активе, проходившем в здании МГК, они, убеленные сединами или увенчанные лысынами, произносили покаянные речи. Мое личное впечатление: очень хотелось верить в искренность ораторов, в то, что заблуждались и впрямь случайно. И еще— острое чувство жалости к ним: так жалеют увечных...

Естественно, все эти кипения не проходили мимо Литературного института, так или иначе задевали его, но в тогдашнем институте был здоровый, не склонный к истерикам коллектив. Когда я говорю это, то имею в виду и преподавателей, и студентов. Мы, студенты, в большинстве своем были людьми взрослыми, хлебнувшими и армейской службы, и работы. Обремененные семьями, не имеющие никакой материальной поддержки, вкалывали как могли и где могли, лишь бы прокормить себя и детей: на стипендию не больно-то разбежишься. И когда нам не доставало партийного понимания тех или иных явлений — нас выручало, скажем так, классовое чутье. Сыгенькие «бунтари» у подножия памятника Маяковскому не

стали родней пам. Дошло и до того, что там же, у памятника, схлестнулись однажды. Сперва в дискуссии, в поэтическом споре, затем — и в этом есть своя логика — на кулаках. Не мы начинали, но и хлипкими оказались не мы.

Сам факт существования Литературного института не всем был по нраву. Как раз тогда, в 63-м, И. Г. Эренбург в частной беседе с нашими однокашниками изрек буквально следующее:

— Горький, который в течение всей своей жизни очень многое делал для развития пролетарской литературы, в последние годы стал ей вредить. Самой крупной его диверсией было создание Литературного института...

Илья Григорьевич не обладал властью, достаточной для того, чтобы поправить «ошибку» Горького. Нашлись, однако, люди, имеющие эту власть в избытке. В июне 1963 года Литинститут, вернее, очное его отделение прекратило свое существование. Набор очников на новый учебный год отменили. Правда, нас, уже учившихся, пожалели — решили довести до диплома.

— Нам, выходит, повезло, мы — последние из могикан, — грустно констатировал переваливший на второй курс Коля Рубцов.

2

Рубцов не был образованным диалектиком, но превосходно понимал диалектику путром.

Не покачнулся, не сбился с пути. Не соблазнился дешевым успехом «ниспровергателей».

И не случайно, русский до мозга костей, с обостренным чувством любви к Родине, ис-

торг из своего существа этот пронзительный вскрик: «Россия, Русь! Храни себя, храни!..» Не рвущее душу стенание, а тревожный колокольный набат — вот что такое эта стихотворная строка в пять коротких слов, из которых два повторяются дважды. Набат, как известно, к смирению не зовет.

Вообще в стихах Рубцова последних лет понятия **Россия** и **Русь** встречаются, как никогда, часто.

Вместе с тем напряжение, в котором пребывали и литература, и страна, болезненно ощущалось и болезненно переносилось поэтом. Как-то на вечере, посвященном его памяти, известный стихотворец, вспоминая Рубцова, рассказывал:

— Приходил он к нам в «Юность» — такой тихий, застенчивый, в пестром шарфике. Мы его так и прозвали: «Шарфик». Убежден, он, Шарфик, жил только поэзией, ни о чем другом не думал.

Думал. О многом думал. Не Шарфик — поэт и гражданин Николай Рубцов.

Не зная иного выхода для своей печали, шел на скандал, на чудачества.

В комнате общежития размашисто, через всю стену, начертал ломаными, неровными строчками: «Я, Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни отрицаю!..»

Как топором врубил!

Тут, на грех, комиссия с проверкой общежития. Вселенский скандал! Приказ об изгнании из стен. Студенты снарядили делегацию к ректору — с трудом отстояли.

Историю о том, как Рубцов «беседовал» с классиками, доводилось мне слышать от доб-

рого десятка людей. Среди них — известные поэты, руководители творческих семинаров в институте; часто печатающийся критик; несколько серьезных прозаиков. И каждый давал руку на отсечение, что был очевидцем. А звучало примерно так:

— Захожу, понимаешь ли, к Николаю Михайловичу — и оторопь берет. Он до чего додумался! Снял со стен на этажах портреты Пушкина, Лермонтова, Белинского, Блока, снес к себе в комнату, расставил у стены и учинил с ними пьянку. Им наливает и себя не обходит. Да еще чокается с каждым: «Ваше здоровье, Александр Сергеевич!.. Ваше, Михаил Юрьевич!..» Ну и далее, по порядку. Только я на порог — он мне жест рукою: «Выйди вон, не мешай! Видишь, я с классиками беседую, с равными себе. А ты тут лишний!»

Так оно и было, все тут правильно, за исключением одной, возможно, не самой существенной детали. Истинные очевидцы этого эпизода — студенты Борис Шишаев и Василий Нечунаев: как раз их-то и выгнал Коля за порог. Был и еще один свидетель — комендант общежития Палехин, единственный, кажется, человек, при виде которого Рубцов испытывал неподдельное чувство страха. Других очевидцев не было! Я застал Колю уже в тот момент, когда он, протрезвевший, тихий и покорный, под надзором коменданта разносил портреты по этажам, водворяя на место.

На другой, кажется, день нашелся у него подражатель: этот пытался снять на этажах часы — большие, типа корабельных, впаянные в стенку на две стороны.

Может, и не стоило бы ворошить все это

давнее, неблагополучное, но пора положить конец домыслам и досужим инсинуациям. Пора очистить зерна от плевел, пока еще живая наша память способна воссоздать образ Рубцова таким, каким был поэт въяве.

3

Наверно, каждый творческий вуз богат своими чудачками: на то он и творческий! И все же убежден, пальма первенства принадлежит Литературному институту. Что ни студент — оригинал! На какие только трюки ни пускались, чтобы прославить или утвердить себя! Вот сейчас, когда пишу эти строки, вспоминаю почему-то Сашу С. Прескверные сочинял стихи, зато как здорово — без отдыха, кавалерийским аллюром — по ступенькам лестницы поднимался на руках на седьмой этаж. И спускался впиз, опять же на руках! Иные чудачества десятилетиями хранятся в памяти поколений. Салажата от литературы уже не про отцов — про дедов рассказывают, живописуя их дебоши, амурные похождения, взаимоотношения с преподавателями, а то и просто удачную строчку, незамысловатый экспромт, лихой сюжетец, так и не вышедший за рамки устного словотворчества. Жаль, что *Alma mater* наша до сих пор не взрастила собственного Николая Васильевича Гоголя! Какие возможности для написания новых «Вечеров», скажем, «...в общежитии Литинститута, близ Зеленого дома». «Зеленым домом», по цвету приземистого зданьица, именовалась наша троллейбусная остановка.

Так вот, даже в нашем трудноуправляемом мире, гораздом на хитрую выдумку и неужи-

данный поступок, поведение Рубцова чаще всего оказывалось непредсказуемым.

Я не видел его на лекциях, не знаю, как внимал он слову, читаемому с кафедры. Доподлинно знаю, однако, что, если лекция случалась скучной, малоинтересной, Рубцов не ждал, когда зевота сломает скулы: поднимался и, презирая гнев маэстро, покидал аудиторию.

Не терпел фальши, не мог смириться с ней. И если в студенческом кругу, где каждый из поэтов норовил поразить товарищей невиданной рифмой, неслыханной строчкой, кто-то начинал петь не своим голосом, читал откровенно бездарные вирши, вставал Рубцов и, простирая руку, показывал на дверь:

— Выдь немедленно отсюда! Тебе нет места среди настоящих.

Однажды по общежитию разнесся слух: Рубцова исключают из института за скандальную драку — учинил дебош в ресторане Дома литераторов и два дюжих милиционера никак не могли привести его в чувство. В моей записной книжке соседствуют две записи, помеченные одним и тем же числом — 6 декабря 1963 года. Первая: «Завтра вечер в ЦДЛ — в честь 30-летия института». И, чуть ниже, вторая: «А Кольку-то Рубцова исключили из института. Избил замдиректора ресторана ЦДЛ. Грусть».

Приказ об исключении Рубцова вывесили на доску незамедлительно, и в железно продуманных его формулировках действительно фигурировали слова «драка» и «избил». Только нам-то, студентам, не верилось, что тщедушный, полуголодный и, главное, не терпящий

никаких драк Коля Рубцов мог осилить дядю, немало и с пользой для себя потрудившегося на ниве литературного общепита. Начали собственное расследование. Выяснилось, что содержание приказа, мягко говоря, противоречит истине. Дело было так. В одном из залов Дома литераторов заседали работники наробраза, скучая, внимали оратору, нудно вещавшему с трибуны о том, как следует преподавать литературу в средней школе. Колю, проникшего в ЦДЛ с кем-то из членов Союза, у дверей этого зальчика задержало врожденное любопытство. Так и услышал он список рекомендуемых для изучения поэтов. Список показался ему неполным.

— А Есенин где? — крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. — Ты почему о Есенине умолчал?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход. Противник всяческого насилия, Рубцов, задыхающийся от боли и гнева, попытался оттолкнуть интенданта, вырваться из его рук.

— Бью-ут! — завопил метрдотель. Подскочила прислуга, при своих, что пазывается, свидетелях составили протокол, который и лег в основу грозного приказа об исключении.

Институт бурлил: в перерывах между лекциями только и разговору, что об учиненной над Николаем несправедливости.

В ректорат и партком снова пошли студенческие делегации.

За Рубцова вступились известные поэты.

На волне юбилейных торжеств, связанных с тридцатилетием института, приказ об ис-

ключении отменили. Дело передали в товарищеский суд.

Тут тоже не обошлось без передержек, и вспоминая это судилище, до сих пор испытываю я жгучее чувство стыда.

Председательствовал на судебном заседании профессор Водолагин, запомнивший меня еще по вступительным экзаменам. Когда прикрыли очное отделение института, Водолагина и меня снаряжали в Вешенскую — искать защиты у Михаила Александровича Шолохова. То ли командировочных в кассе не хватило, то ли поняли вдруг, что и авторитет классика нам не подмога, но поездка сорвалась... Так вот, Рубцов, беззащитный и растерянный, стоял на сцене актового зала и слова не мог вымолвить в свое оправдание. Сотни глаз были устремлены на него.

— Так как же будем жить дальше? — после длинной морали спросил Водолагин. — Ведь вот есть же у нас студенты... ни в чем подобном не замешаны. — Строгим взглядом обвел зал. — Вон, к примеру, Валентин Сафонов.

Бледный Коля пролепетал что-то невнятное.

— Что? Не слышу. Громче! — настаивал Водолагин.

— Буду, как Валя Сафонов, — через силу выдавил Рубцов.

Я готов был сквозь землю провалиться, но земля не разверзлась подо мной. А довольный результатом Водолагин тотчас отпустил Рубцова со сцены.

4

Николая перевели на вечернее отделение, выдворили из общежития. Сердобольные вах-

терши закрывали глаза, когда поздним вечером, крадучись, пробирался он в студенческий наш дом, чтобы переночевать у кого-то из товарищей. Комендант, однако, был безжалостен.

— Николай Андреевич, — пришел я к нему, — безвинно-напраслино человек страдает.

— Садитесь, — предложил Палехин и затеял длинный разговор о Кильдине, памятном ему по годам войны, о флоте. Растаял, растворился в воспоминаниях, голосом дрогнул.

— Так, говорите, Рубцов тоже североморец? — неожиданно прервал себя, и в голосе его снова зазвенел металл.

— Самый доподлинный. Всю службу отмотал на эсминце...

— Ведет себя как-то... Ладно, пусть зайдет.

— Когда?

— Да хоть сейчас.

Стремглав бросился за Николаем, отыскал его в какой-то чересчур гомонливой компании и понял, что примирение сегодня не состоится: не простит ему Палехин взъерошенного вида, да и Рубцов не понесет повинную голову.

Назавтра и послезавтра тоже ничего не вышло. А там как-то подзабылось все, и опять вспыхнуло, и снова подзабылось. Теперь уже вряд ли кто доподлинно скажет, сколько раз Рубцова изгоняли из института и общежития, сколько раз восстанавливали в правах.

Да и так ли важно это, так ли существенно? Важнее другое: недолгие и нелегкие дни, прожитые Рубцовым в Москве, оказались для него тем же, чем бывает запальный шнур для динамита. Энергия, которая годами накапливалась в его смятенной, ищущей, не знающей

покою душе, вдруг прорвалась наружу, пролилась стихами. Перед Рубцовым широко открылись двери редакций и издательств. Да что там двери! Сердца читателей доверчиво распахнулись ему навстречу. Критика заговорила о нем.

Пришел успех!

«Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ...»

1

Беда многих начинающих, а подчас и солидных авторов в том, что, оседлав однажды проворного конька, они десятилетиями не слезают с него, любимого. Скачут по проторенной дорожке, благо и направление задано, и рука набита. Надежно, удобно! Сбегаю с геологами в тайгу — пою про тайгу и геологов. Прокатят меня в самолете — творю про воздушный флот. Иной невзыскательный критик еще и обласкает за преданность теме. А всмотреться поглубже — мелководье, перепевы самого себя.

Истинному таланту такая позиция претит!

Творческий опыт Николая Рубцова скоротечен, но богат содеянным. Поэт жил в непрерывном развитии.

Мне представляется сегодня, что время, отданное Рубцовым сознательному творчеству, можно разделить на три периода. Шесть-семь лет, включающих в себя годы флотской службы и последующих скитаний в Ленинграде, — первый, начальный. Или, точнее, подготовительный. Второй период — пятилетка в Литературном институте. И третий — те последние, короткие, как мгновение, три с половиной го-

да, что оставалось ему прожить на белом свете.

Горький, говоря о Есенине, называл его органом, созданным природой исключительно для поэзии, для писания стихов. В какой-то степени это определение справедливо и по отношению к Рубцову. Чем бы ни занимался он, в какие переделки и передраги ни попадал, он не уставал и не переставал творить. Именно московский, или — применительно к страннической его натуре — литинститутский, период я склонен считать самым ярким, самым плодотворным в поэтической работе Рубцова. Все то многое, что сделано им в эти, с 62-го по 67-й, годы, сделано самобытно и неповторимо. В этом легко убедиться — достаточно взять в руки любой сборник Николая: их теперь уже немало издано по стране. Стержнем, основой каждого из них остаются стихи, написанные Рубцовым в студенческие годы, частично вошедшие в три первоначальных его сборника: «Звезда полей», «Душа хранит» и «Сосен шум» (в этом же ряду, пожалуй, следует упомянуть и крохотную «Лирику», увидевшую свет в Северо-Западном книжном издательстве еще в 1965 году).

2

Рубцов отдал дань неизбежному — волнам и скалам.

Захоти он и дальше петь о море, кормиться возле волны — пожалуй, стал бы первым в ряду поэтов-маринистов. И первенство это давалось ему без особого труда. «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте!» «Старпомы ждут своих матросов. Морской

жаргон с борта на борт летит...» «Потонула во тьме отдаленная пристань...» Что ни строка — все чеканка: свое видение предмета, свои буйные краски и — обязательная честность, которую, увы, в нашей маринистике иные бойкие авторы не без успеха подменяют высокопарной риторикой.

Жизнь его после службы на флоте была далека от уюта и благополучия, но эта неуверенность не убила романтически-возвышенного начала в душе Рубцова. По строчечной сути своей он остается романтиком. Но романтик вырос из детских штанишек, уже не волны и скалы влекут его в поэзии — иные темы захватывают воображение Рубцова, иные песни стекают на листы бумаги с острия его пера.

Прежде всего он пристально вглядывается в деревню. Он переживает свое — после долгой разлуки — возвращение на тихие деревенские улицы, заселенные по преимуществу добрыми, исключительно порядочными, подчас немного чудаковатыми жителями. Это возвращение — и праздник, и печаль... Из-за боязни превратить свои заметки в подобие научного трактата я постараюсь как можно меньше пользоваться цитатами, даже названия стихов приводить не стану; они, уже сказано, доступны каждому читателю. Думается мне, однако, что в деревне Николай Михайлович видел и любил прежде всего Россию, Русь: ее начала, теряющиеся в родниках истории; ее людей; ее природу; ее величие, славу, боль. И деревня у Рубцова своя — неповторимая и своеобразная, он изображает ее не в глобальном размахе — от росинки до звезды, а через деталь, через образ, через конкретное явление: кони в ночном,

дряхлый дед на печи, перевоз через речку, забытое кладбище, сельская школа, древние старушки... Масштабное, всечеловеческое — в обычном, рядовом! Все мы знаем эту исконную деревню, всем нам она мила, близка и дорога. Не потому ли так будоражит и поднимает нас деревенская поэзия Николая Рубцова?

Подчеркну, что деревня у Рубцова вовсе не патриархальна, напротив — самая современная, самая нынешняя. Процесс ее обновления (или перерождения?) происходит постоянно:

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...

Вот бы, думаю, издать отдельной книгой все стихи Рубцова о деревне. Только о деревне! Да со строгим соблюдением хронологии — по годам, как по векам! Как случилось, как пелось... В каком бы новом, неожиданном качестве предстал перед нами поэт!

3

Деревня для Рубцова — Родина, Отечество. Но деревня — и странички его жизни, судьбы. Его детство.

Становясь старше, мы все чаще обращаемся к своим истокам, к началу.

А начало у Рубцова горькое, даже страшное: «Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая не дает проходу...»

Служа на корабле, пребывая в относительном благополучии (одет, обут, накормлен), он

еще может тешить себя стихами о несбыточном:

Скоро, переполненный любовью,
Обниму взволнованную мать...

Это из «Отпускного». Тут не только сладкий самообман — тут заданность, чужие мысли. Как, скажем, и в не публиковавшихся до сих пор стихах «Дан семилетний план».

Став старше, снова хлебнув скорбей и лишений, Рубцов уже никогда не решится сказать заведомую неправду.

И все чаще будет задумываться о детстве, искать себя в нем. Будет мучительно напрягать память, чтобы — через годы и штормы — разглядеть лицо покойной матери. Чтобы сказать о ней пронзительно и горько: «А где-то есть во мгле снегов могила мамы...» Или вспомнить — со слезами в голосе — как нес он «за гробом аленький свой цветок».

С детства обделенный теплом, он и сам очень часто скупится на тепло, во всяком случае, на внешнее его проявление. Однако на встречу радушию, когда оно без фальши, неподдельно, открывается весь, без остатка. Видел я его таким в домашней — пусть и в чужих стенах! — но в простой домашней обстановке, среди простых людей. Лучится ответной лаской, искренен и чистосердечен, и — ни единой колючки!

Сердце сжималось от радости и боли, когда видел его таким.

Счастливы те из нас, кому долгие годы сопутствуют в жизни матери!

Особняком стоят для меня стихи Рубцова, посвященные русским писателям.

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин, Хлебников...

Какие тени потревожил Николай Михайлович! С каким предельным лаконизмом и в то же время исчерпывающе говорил о каждом! И пусть не все стихи равноценны, но вот где воистину оправдалось крылатое: «Краткость — сестра таланта!»

Имя Пушкина дорого каждому поэту на Руси. И каждый — исключений нет! — хотя бы раз в жизни писал о нем. Хорошо ли, плохо, длинно ли, коротко, но — писал! Пожалуй что втайне каждый и пушкинский сюртук примерял на себя. Вполне простительная дерзость, ибо плох солдат, не мечтающий стать генералом.

Рубцов свое отношение к Пушкину, свое понимание Пушкина выразил всего-навсего в четырех строках:

Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначение свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...

Это — не эпитафия, это — о Пушкине по существу!

Лермонтов, Гоголь, Тютчев явлены нам вживе — знакомыми вроде бы, хрестоматийными сюжетами: дуэль одного; приезд в столицу другого; пессимизм и нечеловеческая усталость третьего... Но ведь как явлены, как это сделано — по-рубцовски оригинально, неожиданно!

Его отношение к предтечам свято, но и собственное достоинство он блюдет, потому что уже догадывается, предчувствует, что и сам в российской словесности займет далеко не последнее место.

К стихам о классиках примыкают стихи о современниках — Дмитриии Кедрине и Николае Анциферове.

Кедриним увлекались мы еще на флоте, он тоже был нашим «открытием» тех лет: стихи и поэмы его — очень русские, очень честные — правились, волновали, как волновала и трагическая, такая нелепая смерть.

Анциферов, окончивший институт раньше, часто навещался в общежитие. Помню, однажды вчетвером собрались мы в комнате: два Николая — Анциферов и Рубцов, да мы с Эриком. Поэты устроили что-то вроде состязания: читали стихи — по очереди, через одного. Начав где-то в полдень, выдохлись только к позднему вечеру. Да и не потому выдохлись, что стихов не осталось, а потому, что голосов не стало. Мы с братом оказались скверными судьями: так и не решились отдать кому-то пальму первенства. Впрочем, ребята и не очень настаивали...

«Последняя ночь» и «Памяти Анциферова» — не только глубокая скорбь по близким духовно людям, умершим не своей смертью, Это — автобиография, это — о себе, о том, чему предстояло быть.

5

Понимаю, что беглые мои заметки не исчерпывают темы, возможно, не очень-то и дока-

вательны. Но что и кому нужно доказывать? Каждый из нас любит поэзию по-своему, на свой лад и воспринимает ее.

Успех Рубцова, о котором я обмолвился выше, не был случаен.

Случайные успехи недолговечны.

Тут — напротив.

Он, этот успех, был подготовлен всем течением его жизни:

неустанной работой души;

смелостью, с которой Николай Михайлович отринул устоявшиеся каноны, первоначальные уроки и пришел к своей самобытности;

совестью и позицией гражданина;

вдохновением, рождаемым в тяжком труде.

Все это вместе и есть талант!

Печалась о рано ушедшем из жизни земляке, Василий Белов сказал на страницах газеты «Советская Россия»: «Жаль, он так и не сумел выстоять перед пагубной страстью...»

Жаль — и Рубцова, и Анциферова, и Блынского...

Но вот о чем подумалось мне еще. Все мы, и я в том ряду, много толкуем о лишениях, выпавших на долю Рубцова, о несчастьях, ходивших за ним по пятам. А ведь сам-то он... сам он, видимо, другой доли и не желал. С этой был счастлив. О чем со всей определенностью и сказал в своих стихах: «Я люблю судьбу свою, я бегу от помрачений!..»

Никому не ведомо, в какой мере каждый из нас зависит от обстоятельств. Сложись жизнь Рубцова по-иному — может, и не было бы у России такого певца.

ПРЕДЗИМЬЕ

1

Вхождению Рубцова в большую литературу содействовал «Октябрь». В августе шестьдесят четвертого журнал опубликовал его подборку из пяти стихотворений.

Не всякое имя молодого поэта запоминается после первой публикации.

Рубцова запомнили сразу. Если не по имени, то по стихам. И по сию пору вижу, как в Опалихе ввалился в электричку краснощекий, словно нарумяненный, мужичонка с корзиной, полной ядреных рыжиков. Сел на свободное место, пристроил корзину на коленях и, разводя толстые губы в блаженной ухмылке, заведенно повторял:

— Сапоги мои — скрип да скрип...

И видно было, и без перевода понятно, как музыка рубцовских стихов ложится в лад его душевному настрою.

Время от времени у дверей общежития появлялись экзальтированные девицы или дамочки (и черт не разберет, что они за сословие!), приходившие специально «посмотреть на Рубцова». Комендант и вахтеры хранили бдительность: уж коли сам Мастер — и такое случилось! — проникал на ночлег через окошко, вскарабкиваясь к нему по водосточной трубе, то отношение к экзальтированным особам выражалось в формуле: не пущать и гнать!

Умельцы любую кочку используют для закрепления достигнутого.

Коля не был умельцем. Славой не кичился, не бахвалился, денег не берег. Сам щепетиль-

по честный, помнивший до последнего рубля все долги и безукоризненно возвращавший их, стеснялся попадаться на глаза тем, кому давал в долг. Уже и ощутимые получая гонорары, жил все по тому же принципу: «Стукнул по карману — не звенит...»

Единственной корыстью, которой одарила Рубцова растущая популярность, стала возможность почти неограниченно путешествовать. «Дух бродяжий» никогда не угасал в его душе, а тут вдруг вспыхнул с новой силой. Надолго, никого не предупредив, исчезал Николай из общежития. И так же внезапно появлялся.

— Откуда? — спросишь.

Назовет, откуда вернулся. Теперь, за давностью лет, уже и не припомню всех его маршрутов. Но однажды на тот же вопрос ответил нестереотипным:

— Есть тут одна квартирка. Отсиживался. Раны зализывал.

Тогда я пропустил мимо ушей эти слова. И вспомнил о них гораздо позже.

2

Жарким летом шестьдесят шестого года вернулся я в Москву из какой-то командировки. Студенческий наш приют на Добролюбова, 9/11 пустовал. Странно было видеть разверстые двери комнат, голые койки и столы за ними, косые лучи солнца, ломающиеся в чреде окон. Непривычный, безжизненный мир в доме, обычно полном кипения и суеты.

Прошел этажами по скрипящим — закрипели вдруг, на безлюдье-то! — паркетинам.

Чу! Вот и голоса в угловой комнате.

За дверью — поэтическая сходка: Коля Рубцов, Боря Шишаев, Вася Нечунаев. Ведерный бак пива на столе, вокруг, на газетных листах, монбланы жареной кильки. И — начал страстей: читают по кругу стихи, запивают из поллитровых, прихваченных у ларька кружек.

Я присоединился к столу.

У Васи Нечунаева стихи детские, то есть для детей. Посмотришь на его устрашающе голый череп, на скорбный лик мученика и аскета — и не хочется верить, что перед тобой одаренный детский поэт. А слушаешь стихи — убедишься: воистину талантлив!

В длинностроких Бориных стихах гуляет ветер. То есть образ ветра — то мягкого и доброго, то беспощадного и всесокрушающего — главенствует в них.

— Ты Луговского начитался, — сказал я ему.

Самолюбивый Борька обиделся, начал задираться, кричать, что сроду не читал Луговского и читать не собирается.

— Он одного меня читает, — невесело пошутил Коля. И тихо попросил: — Дайте мне-то сказать.

В тот день и услышалось впервые вот это:

Я буду скакать по холмам
задремавшей Отчизны,
Неведомый сын удивительных
вольных племен!..

Читал он вяло, невыразительно, да и выглядел неважно: глаза провальные, скулы обострились, горбится; в замедленности жестов и слов чувствуется страшная усталость.

То ли по этой причине, то ли еще почему,

но стихи в тот день мне не понравились, почудилось в них что-то чужое, наносное.

— Тут больше Блока, чем Рубцова, — сказал я в ответ на его вопросительный взгляд.

— А ты свои почитай! Посмотрим, кого там больше — Блока или Луговского, — распалясь, петушком завился Борис. — Что, слабо?

— Слабо, потому как давно пишу прозу. Да и вообще после Пушкина писать стихи считаю за подлость.

— А проза после Достоевского — не подлость?

Назревал скандал — заурядное явление в нашем многострадальном доме.

Рубцов выбрался из-за стола, потянул меня за рукав.

— Проводи меня, Валька.

— Куда?

— Да тут, поблизости. Боюсь один оставаться... Одиночества боюсь.

Вышли на улицу, сели в машину и по почной столице, пропетляв переулками и закоулками, приехали к... Достоевскому. Великий писатель, сутулясь, стоял на постаменте: голову склонил, руку, как мне показалось, прижал к обнаженному сердцу. Купы деревьев теснились за ним, и тихий шум листвы походил на приглушенный, придавленный стон.

Любое слово, сказанное нами, было бы в эти минуты кощунственным.

Так и стояли — молча.

Долго стояли.

А потом, миновав какой-то грязный, неухоженный двор, опять же грязным коридором и в крошечной тьме поднялись в грязную, обшарпанную квартиру с голыми стенами.

Все, что было там, мнится мне теперь сумбуром, если не кошмаром: наваждение стихов и прозы, воспоминания о службе на флоте, споры — чаще всего беспредметные, никчемные, и снова стихи, стихи, стихи...

Знаю, стихотворение «В гостях» («Трущобный двор. Фигура на углу. Мерещится, что это Достоевский...») написано в другом городе и по другому поводу. Но когда перечитываю его — испытываю жуткое ощущение достоверности тогдашнего нашего долгого сидения. Все было размыто: граница между светом и тьмой, реальностью и фантазией, кошмаром и явью, поэзией и прозой...

Существовали они в Москве, да и теперь существуют и трущобный тот двор, и конкретный поэт — хозяин «притонного жилища», и его издерганная подруга:

А перед ним, кому-то подражая
И суется, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему вы курите, мадам!

В этом обшарпанном, грязном доме, по соседству с Достоевским, и вынужден был скрываться Николай Михайлович в те дни, когда уж вовсе некуда было податься.

Рассказывают, что хозяин той странной квартиры, не без помощи своих многочисленных друзей, сейчас представляется благодетелем Рубцова.

Нужно ли?

Однажды, уже осенью, в начале последнего для него учебного года, Рубцов пришел ко мне, чтобы сказать: перечитал всего Блока и не нашел ничего похожего на те свои стихи —

«Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...».

И я с легким сердцем признался, что был не прав, что в тот жаркий и душный день не иначе как бес попутал меня...

3

Я намеренно вынес в название этой главы неласковое слово «Предзимье».

Бессребреник и вечный странник, после окончания института скитается Рубцов по градам и весям России, нигде не задерживаясь надолго. То ли от чего-то бежит, то ли чего-то обрести жаждет.

А чего — покоя?

Не для него покой.

Со слезами на глазах поет он под гитару «Прощальную песню»:

Чтобы девочка, куклу качая,

Никогда не сидела одна.

— Мама, мамочка! Кукла какая!

И мигает, и плачет она...

Поет — и сам плачет.

Где-то там, на Севере, в родных ему местах, ждет его девочка. Дочь. И мать этой девочки ждет. А он, ежели и проговорится о том, — скупой, нехотя:

— Есть там одна женщина... Тебе неинтересно.

Постоянно окруженный «телохранителями» из числа не шибко преуспевших в поэзии, в минуты душевного разлада он бежит от них, ищет спасения в одиночестве, но и долгое одиночество страшит его. Помню, встрепанный,

перепуганный, ворвался он в редакцию журнала «Молодая гвардия»:

— Спрячь, меня там Ф-н преследует.

Ф-н был из категории прожженных дельцов: грузный, поседевший прежде времени, в очках с серебряной оправой, он с треском завалил творческий конкурс в Литературный институт, жил в Москве без прописки и наловчился за-таскивать Рубцова в разные сомнительные компании, где за вино и закуску Николай должен был читать стихи и брэнчать на гитаре.

Я вышел в коридор, сказал Ф-ну, что, если когда-либо увижу его возле Рубцова, сломаю ему шею. Злодей ретировался, но, думаю, еще не раз затягивал Николая в свои паучьи сети.

А вот вдали от шума городского, на светлых просторах Руси Рубцов отходил душой, отгаивал, на какое-то время становился самим собой — улыбчивым и просветленным.

На какое-то время!..

Вспоминаю Колин приезд в Рязань, вовсе неожиданный и затеянный им ради Есенина — в Константиново поездки ради. Было это в марте 1968 года. Я к тому времени работал в редакции областной газеты «Приокская правда».

Таял снег, дули пронзительные ветра. Подняв воротник пальто и кутая шею в шарф, Рубцов ходил по сырым улицам и сокрушался, что не сохранилось зримых примет пребывания Есенина в городе.

Поздним вечером, точнее, в ночи даже, пришли мы, несколько человек, на территорию кремля — к могиле Полонского. И долго стояли у хлипкой решетки, отгородившей от нас мраморную глыбу надгробья.

А потом, отвалив в сторону от заповедника, бредя по колени в громяющем снегу, наткнулись мы на гору ящиков — выброшенную за ненадобностью магазинную тару. Колина душа исстрадалась по живому пламени, по теплу. Достал из кармана спички.

— Запалим костер, мужики.

Синие тени падали на хрусткий, подмороженный снег, передвигались вокруг огня, а нам было весело, хорошо было, и мы читали стихи. Весна пьянила...

Впрочем, не обошлось и, строго говоря, без эксцессов. Стихотворец С-н, всегда не в меру суетливый и хмельной, кажется, с рождения, желая понравиться Рубцову, затеял читать что-то несусветно нудное, выматывающее душу. Читал он с подвывом, замогильным голосом. Коля, вежливо прослушав одну или две строфы, резко взмахнул рукой:

— Хватит, уймись. Ты безнадёжный графоман!

С-н, обычно ершистый, поперхнулся, смущенно умолк, не осмелился возражать. Да и что тут возразишь, коли голая правда!.. Вступить за него тоже никто не пожелал.

Костер наш прогорел лишь к утру.

Так получилось, что поехать в Константиновó я с Николаем не мог — предстояла мне срочная командировка совсем в другом направлении. Позвонил ребятам в редакцию рыбновской районной газеты, попросил, чтобы встретили самым достойным образом. А поехал с ним мой брат Эрнст, в то время ответственный секретарь областной писательской организации.

Простились мы у меня дома — за чашкой

чая, под гитарный перезвон и трогательные Колины песни.

В Константинове, рассказывали мне, Коля был угрюмо сосредоточенным и резким, экскурсовода слушать не пожелал — по комнатам музея ходил в одиночку, вздрагивая, испуганно оборачивался на каждый звук: кашляет ли кто-то, ступенька скрипнет... О чем он думал в те минуты — можно только догадываться, сочинять нельзя...

— А Коля обиделся на тебя, — сказал Эрик. — За то, что в Константиново не поехал. Хотелось ему к Есенину вместе с тобой...

Знать бы, как оно в скором времени обернется, — наплевал бы я на ту командировку, на производственную дисциплину! Да ведь все дуем, что живем вечно...

ОБОРВАЛАСЬ ПЕСНЯ

1

Страница из записной книжки:

«24 января 1971 г., Рязань.

Странное и непонятное творится в природе: с 19 января, вместо положенных крещенских морозов, оттепель, какие только во второй половине марта бывают. Дожди, море воды под окнами, температура плюс один, плюс два градуса.

А вчера плакал. В «Литературной России» прочитал «Слово прощания» — умер Колька Рубцов.

И работать не могу — все о нем думаю, и настроение препаршивое.

Умер он 19-го.

Представляю его в гробу — маленького, обиженного на кого-то. На жизнь, может?..»

Вот и сейчас, когда переписываю эти строки, ком подкатывает к горлу.

Боря Шишаев узнал о смерти Рубцова в Москве. И стремглав полетел в Вологду. Успел на похороны.

И рассказывал о нем, лежащем в гробу, так, как мне и представлялось. Только уточнял: на губах тихая улыбка стыла. Словно бы простил всех.

Боря — мистик по натуре.

2

За год до своей кончины Коля предрек:

Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат березы...

Принято считать, что такие горькие предвидения — удел больших поэтов.

Но Рубцов вовсе не искал смерти — он хотел жить.

В письме, полученном мною весной 1975 года, Игорь Пантюхов рассказывал о неожиданной встрече с Николаем на безлюдном Чуйском тракте, вблизи Монголии. «Мы ехали от границы с редактором алтайской «молодежки» Юрой Майоровым и вдруг увидели двух — таких редких в здешних местах — голосующих парней, — писал Игорь. — Одним из них был Колька. Мы обнялись, и, едва забравшись в газик, он начал читать, видно, только что рожденную «Дорогу» — почему-то она не вошла в «Сосен шум», но две строки из нее, наполненные рубцовой светлой грустью, звучат у меня

в ушах и сердце до сих пор: «Здесь первый человек произошел, и больше ничего не происходит...»

Эта встреча двух поэтов — бывших моряков случилась как раз во время поездки Рубцова на Алтай, гостевания его в доме добросердечной Матрены — сестры Васи Нечунаева. О поездке на страницах сборника «Воспоминания о Рубцове» в очерке «Его беспокойная пристань» рассказывает Борис Шишаев: «Я узнал потом, что поездка была для него благотворной: Николай много ездил по краю, отдыхал и писал. Когда мы встретились снова, он был гораздо уравновешеннее...»

Но вернемся к письму Пантюхова.

«А потом — наша предпоследняя встреча в Архангельске, в декабре, кажется, семидесятого на выездном секретариате РСФСР, где в досиня прокуренном номере гостиницы мы до смерти читали стихи. Колька вытащил из кармана только что вышедший сборник «Сосен шум» и протянул мне:

— На, на память...

— Так нарисуй что-нибудь...

— А я еще помирать не собираюсь...

Так и стоит у меня этот сборник без автографа...»

Дальше Пантюхов повествует и о последней, «как всегда, неожиданной встрече» с Николаем — во дворе Литинститута: «Стоял солнечный, предвесенний какой-то день. Коля был какой-то светлый, аккуратно застегнутый, тихий. И после обычных: «Как ты? Где ты? Что ты?» — он вдруг без всякого перехода спросил:

— Слушай, Игорь, а ты не знаешь, почему

нынче у нас в Вологде на площади так много ворон? Много-много, как никогда...

Я расхохотался: «Спроси, — говорю, — старик, чего-нибудь попроще... Я и в Вологде-то никогда не был...»

Тут, конечно, ничего не придумано: таким он и был, Коля Рубцов, — неожиданный в своих словах и поступках, как и в своих стихах — неожиданный.

Тихий философ по натуре, Рубцов много размышлял о жизни и смерти. И много писал об этом. И, конечно же, старался увидеть, прозреть, что там — за последней чертой?

Умер, как и загадывал, на крещение. Одного не угадал: про морозы. Именно в тот черный день — 19 января — грянула оттепель с дождями.

3

Преподаватель школы милиции Лидия Абрамовна Токарева подробно, под впечатлением личного знакомства, рассказывала мне об убийце Николая.

О мотивах, якобы толкнувших на убийство.

Не нахожу нужным воспроизводить здесь этот рассказ. Мотивы — светомаскировка, сказки для наивных и легковерных.

Для меня несомненно одно: убивали талант, душу русскую убивали.

Нашлась в том обильном стаде ворон и самая черная...

4

В июле 1982 года я приехал в Североморск.

Падал снег, кружил метелью, забивал дыхание и взгляд.

Североморска я не узнал, хотя он и снился мне частенько. Красавцем снился.

На месте бывшего нашего — деревянного, серенького — открылся вдруг новый каменный город — добрый молодец, и под метелью расцветенный во все цвета радуги.

Высоченные дома на вечной мерзлоте.

Надежные бетонные причалы взамен бывших — деревянных, уныло поскрипывающих.

Могучие корабли... Впрочем, корабли и у нас были что надо!

В отделе культуры солидного учреждения меня неверно поняли. Прознав, что мы с Николаем когда-то печатались во флотской газете, решили немедленно помочь делом. Сняли телефонную трубку, набрали номер редакции и попросили к аппарату Николая Михайловича Рубцова.

Мне стало не по себе, поднялся и вышел из отдела.

После корил себя за несдержанность. Чем она провинилась, та услужливая дамочка с сигаретой в крашенных губах? Порыв ее был искренний, чистосердечный, а что не читала Рубцова, не знает о нем — так это не вина ее, а, может, беда.

Живут же и благоденствуют на белом свете люди иного толка. При жизни поэта хулили его, как могли, подвергали гонениям и притеснениям, а теперь вдруг выставляют себя ценителями его поэзии, прижизненными друзьями. Статейки о нем печатают, и ничего — сходит...

Та малосведущая дамочка — ангел в сравнении с ними,

После смерти Николая написал я стихи. Вряд ли когда еще обращусь к рифмам, не мое это дело, но те стихи хочу привести здесь.

Памяти товарища

Я буду скакать по холмам
задремавшей Отчизны...
Н. Рубцов

То ль от кнута, то ль от лихой погони
В суровый день, в холодный день зимы
Навеки ускакали наши кони
За снежные, высокие холмы.
Попробуй догони каурку с сивкой!..
Будь всех хитрей — и то не превозмочь,
Лишь ржанья неукротимого обрывки
Над сонным полем тихо носит ночь.
И оттого мне странно и досадно,
А попросту сказать, печально мне,
Что не промчится больше поздний всадник
Лихим аллюром по родной стране;
Что там, где было всех начал начало,
Куда не раз мы устремляли взор,
Мигнул у корабельного причала
Прощально одинокий семафор.
Судьба ли то? Досадная ль оплошка?
На этот счет немые твои стихи.
Вон северная ягода — морошка,
Не сорванная, падает во мхи.
Умчались кони — нет им укорота,
И ржанье их растаяло во мгле,
Но, слава богу, зельем приворотным
Твое осталось слово на земле...

Величайший такт и трогательную мудрость проявили земляки Николая Михайловича Рубцова, начертав на памятнике ему строчку из «Видений на холме»:

Россия, Русь! Храни себя, храни!..

Рязань,
1975—1985 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ЛИРИКА

Видения на холме	5
«Я буду снакать по холмам задремавшей от- чизны...»	7
Подорожники	10
На почлеге	11
На реке Сухоне	13
Родная деревня	14
Добрый Филя	15
«В полях сверкало. Близилась гроза...»	16
Журавли	17
Вечернее происшествие	18
«Сапоги мои — скрип да скрип...»	19
В горнице	21
Душа хранит	22
По вечерам	23
Старая дорога	24
Природа	25
Утро	26
«Доволен я буквально всем!...»	27
В глуши	28
Промчалась твоя пора!	29
Песня	30
В минуты музыки	31
Ночь на родине	32
Листья осенние	33
«Седьмые сутки дождь не умолкает...»	35
Наступление ночи	37
Зимняя ночь	38
Куда полетим?	39
Прощальное	40
Скачет ли свадьба...	41
Березы	43
Зимовье на хуторе	44
По дрова	45

«Давай, земля, немножко отдохнем...»	46
Осенние этюды	48
Над вечным покоем	51
«Село стоит на правом берегу...»	52
Плыть, плыть...	53
Экспромт	54
Тост	55
Вологодский пейзаж	56
О Московском Кремле	57
Привет, Россия...	58
Поэзия	59
Последний пароход	60
Тихая моя родина	62
Русский огонек	64
Вечерние стихи	66
Философские стихи	68
В гостях	70
Стихи	72
«О чем шумят друзья мои, поэты...»	73
Посвящение другу	74
Левитан	75
Гуляевская горка	76
Сосен шум	77
Нагрязнули	78
В старом парке	79
Во время грозы	81
После грозы	82
Детство	83
«В святой обители природы...»	85
Что вспомню я?	86
Купавы	87
Зеленые цветы	88
Букет	89
Зачем?	90
Свидание	91
Расплата	92
В дороге	93
Зимняя песня	94
Памятный случай	95
Выпал снег...	97
Воропа	98
Ласточка	99
Воробей	100

Про зайца	101
Коза	102
Медведь	103
Гололедица	104
Встреча	105
До конца	106
На родину!	107
Хлеб	108
Поезд	109
Весна на берегу Бии	110
В сибирской деревне	111
Шумит Катунь	113
В пустыне	114
В горной долине	115
«Сибирь, как будто не Сибирь!..»	116
Цветы	117
Прощальная песня	118
У церковных берез	120
У размытой дороги	122
По дороге к морю	123
Улетели листья	124
На автотрассе	125
Грани	126
«Прекрасно небо голубое!..»	127
В избе	128
Гость	129
Под ветвями больничных берез	130
Стоит жара	131
Элегия («Отложу свою скудную пядь...»)	132
Судьба	133
Идет процессия	135
Оттепель	136
«Ветер всхлипывал, словно дитя...»	137
«Окошко. Стол. Половики...»	138
«О чем писать?..»	139
Элегия («Стукнул по карману — не звенит...»)	140
Волнуется южное море	141
Тот город зеленый...	142
Синенький платочек	143
Утро перед экзаменом (Шутка)	144
Мачты	146
Увлечлась печально	147
«По холодной осенней реке...»	148

Осенняя песня	149
Отплытие	150
«Я забыл, как лошадь запрягают...»	151
На сенокосе	152
«Помню, как тропкой, едва заметной...»	153
Жара	154
«Загородил мою дорогу...»	155
Ночь на перевозе	156
Цветок и нива	157
Ива	158
«У сгнившей лесной избушки...»	159
Взглянул на кустик	160
«Уединившись за оконцем...»	161
Фальшивая колода	162
Пальмы юга	164
«Наслаждаясь ветром резким...»	166
Бессонница	167
Из восьмистиший	168
«Брал человек холодный мертвый камень...»	171
О Пушкине	172
Дуэль	173
Однажды	174
Приезд Тютчева	175
Последняя осень	176
Сергей Есенин	177
Последняя ночь	178
Памяти Анциферова	179
«Я переписывать не стану...»	180
Утро утраты	181
Кого обидел?	182
Ночное	183
Кружусь ли я...	184
Угрюмое	185
Неизвестный	186
Гроза	187
Ось	188
По дороге из дома	189
Зимним вечером	190
Осенняя луна	191
Конец	192
Осенний этюд	193
Ночное ощущение	194
«Мы сваливать не вправе...»	195

Острова свои обогреваем	196
«А между прочим, осень на дворе...»	197
На вокзале	198
Дорожная элегия	199
Полночное пенье	200
Аленький цветок	201
Памяти матери	202
«По мокрым скверам проходит осень...»	203
Слез не лей...	204
Старик	205
Жар-птица	206
Прощальный костер	208
В лесу	209
Ферапонтово	211
Сентябрь	212
«Уже деревня вся в тени...»	213
Далекое («В краю, где по дебрям, по рекам...»)	214
Старый конь	215
Далекое («Лети, мой отчаянный парус...»)	216
На озере	217
Январское	218
«Огороды русские...»	219
«Чудный месяц плывет над рекою...»	220
Девочка играет	221
«Мой чинный двор зажат в заборы...»	222
«Я люблю судьбу свою...»	223
Звезда полей	224

Из ранних стихов (1953—1962)

Первый снег	225
«Меня звала моя природа...»	227
На реке	228
А дуба нет...	229
Не пришла	230
Эхо прошлого	232
В городе	234
Фиалки	235
«Эх, коня да удаль азиата...»	237
«Дышу натруженно, как помпа!..»	238
«Ты просил написать о том...»	240

Ответ на письмо	241
Разлад	242
В твоих глазах	244
Наследник розы	245
Повесть о первой любви	246
«Я весь в мазуте, весь в тавоте...»	247
В океане	248
Утро на море	250
Возвращение из рейса	251
На плацу (Шутка)	252
«Мое слово верное...» (Шутка)	253
Ты с кораблем прощалась...	254
Я тебя целовал...	255
Шторм	256
Соловьи	257
Летел приказ (Воспоминание)	259
«Старпомы ждут своих матросов...»	261
Хороший улов	262
Весна на море	263
Портовая ночь	264
Разбойник Ляля (Лесная сказка)	265
О собаках	271
На гуляние	272
Ничего не стану делать	273
«Осень! Летит по дорогам...»	274
«В твоих глазах...»	275
Над рекой	276
Воспоминание	277
Венера	278
Деревенские ночи	279
Первое слово	280
Возвращение	281
Грусть	282

Валентин Сафонов

Николай Рубцов

ПОВЕСТЬ ПАМЯТИ

Часть первая

На северном флоте	285
Корабль	—
Есенин	293

	<i>Стр.</i>
Литобъединение	304
Гаджиева, 9	311
В запас	321

Часть вторая

В Литературном институте	336
Общезитие	—
Alma mater!	343
«Я люблю судьбу свою...»	354
Предзимье	362
Оборвалась песня	370

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу: 103160, Москва, К-160.

Николай Михайлович Рубцов
РОССИЯ, РУСЫ! ХРАНИ СЕБЯ...

Стихи

Редакторы *В. А. Латынин, В. Д. Афиногенов*

Художественный редактор *Е. В. Поляков*

Художник *А. Я. Салтанов*

Технический редактор *М. В. Федорова*

Корректор *Н. М. Ретунская*

ИБ № 4404

Сдано в набор 14.06.91. Подписано в печать 09.09.91.
Формат 70×90/32. Вумага тип. № 2. Гарн. Обыкн. нов.
Печать высокая. Печ. л. 12. Усл. печ. л. 14,04.
Усл. кр.-отт. 14,19. Уч.-изд. л. 12,22. Тираж 50 000 экз.
Изд. № 4/6773. Зак. 882. Цена договорная.

Воениздат, 103160, Москва, К-160

2-я типография Воениздата

191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10



